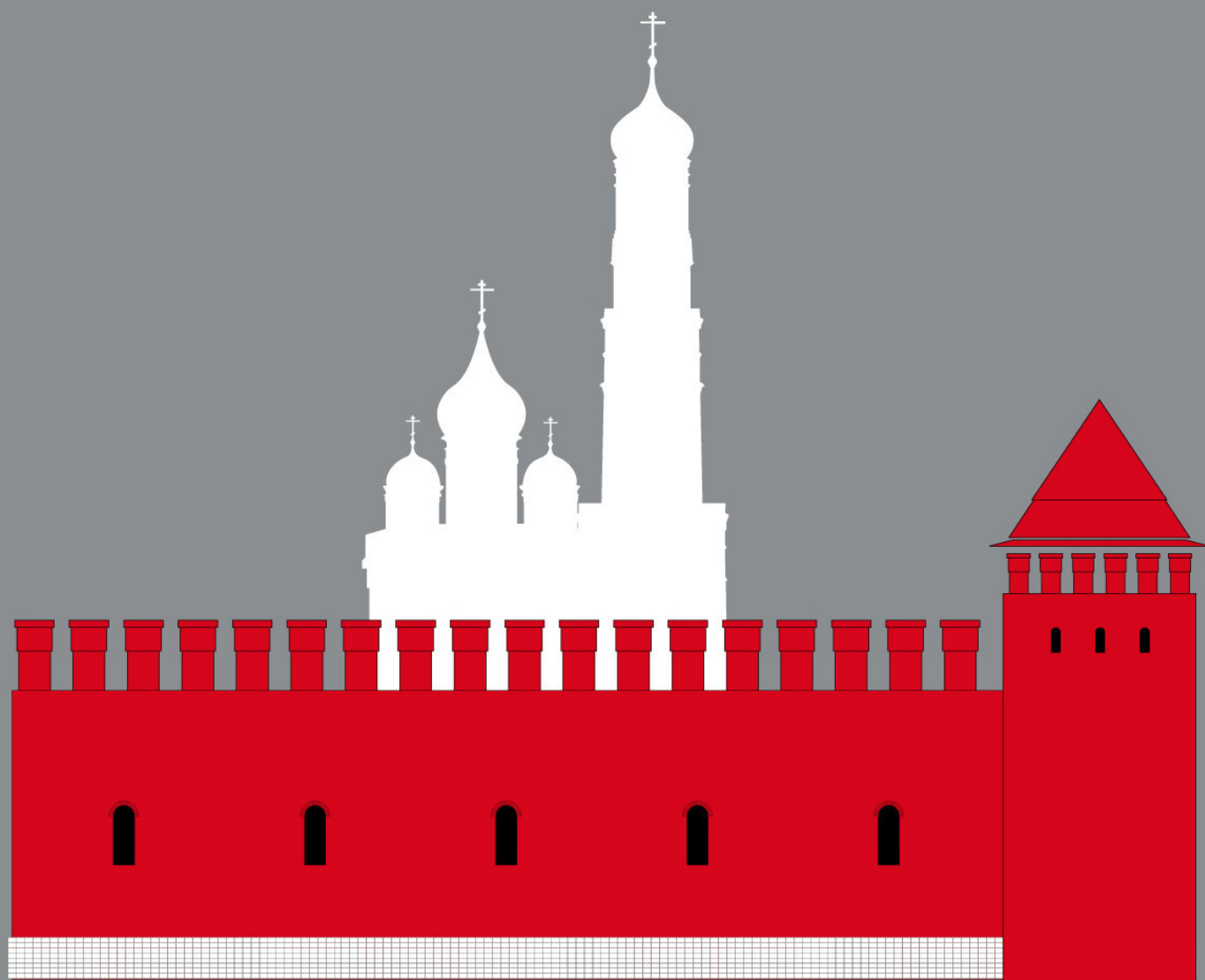


**ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ**



СТЕНА

Бестселлеры Владимира Мединского

Владимир Мединский
Стена

«ЭКСМО»

2012

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Мединский В. Р.

Стена / В. Р. Мединский — «Эксмо», 2012 — (Бестселлеры
Владимира Мединского)

ISBN 978-5-04-095740-8

Исторический приключенческий роман Владимира Мединского описывает один из самых драматичных эпизодов Смутного времени – героическую оборону Смоленска 1609–1611 гг. от польских войск Сигизмунда III. На фоне этого эпического события, описанного с поражающим воображение размахом, разворачивается не менее эпический сюжет: его ниточки сквозь череду заговоров и предательств ведут к интригам поистине глобального масштаба, в которых задействованы государства, тайные могущественные секты и даже сам папа римский... Эпичность и захватывающий стиль повествования без преувеличения позволяют сравнить роман Владимира Мединского с лучшими произведениями А. Дюма и Д. Брауна.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-095740-8

© Мединский В. Р., 2012
© Эксмо, 2012

Содержание

Виктор Ерофеев	5
Отдѣль 1	8
Неудачный день (1609. Август)	8
Зловещий корабль (1609. Июль)	16
Москва. Кремль (1596–1608)	22
Зловещий корабль (Окончание)	32
Отдѣль 2	34
Сокол возвращается. (1609. Сентябрь)	34
Веселое заведение (1609. Сентябрь)	44
Случай надежнее правила (1609. Сентябрь)	50
Таинственный отшельник (1609. Сентябрь)	57
Грамота десятника (1609. Сентябрь)	64
Отдѣль 3	68
Катерина (1609. Сентябрь)	68
Письмо Артура Роквелля	74
Посадский голова (1609. Сентябрь)	80
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Владимир Мединский

Стена

Виктор Ерофеев
Граница
(Вместо предисловия)

История – страна мертвых. Из нее, как из загробного царства, нет верной дороги назад, в пестрое жизненное пространство, где случай спорит с закономерностью, зло прикидывается добром. История умертвляет события и героев невозможностью воссоздать истину в полном объеме, сказать собирательную, объединяющую всех правду. Только взгляд с самого верха, формирующий священные писания, способен на окончательную твердость суждений, но даже они тонут в многочисленных толкованиях и апеллируют к конкретной исторической ментальности.

Остается одно – вера. История, как пасынок религиозного сознания, определяется верой и требует послушания. Не факты формируют веру, а вера оценивает факты. Поскольку в мире нет всеобщей веры, нет и всеобщей истории.

Однако из этого безвыходного положения есть блестящий выход. Мы любим байки об исторических мертвецах. Не знаю, существует ли история без личностей, но исторические личности – находка для автора. Твори. Выдумывай. Пробуй. Как предложила одна из исторических личностей, которая, впрочем, кончила плохо. Но всякий раз хочется надеяться на лучшее или хотя бы на понимание.

Я не фанат исторического детектива, но сколько можно отказываться от того, что в классических формах сформировало твое историческое сознание, которое ты сам отчасти выбрал, а отчасти был избран им? Вот почему я готов к непосредственному оживлению героев и хорошей встряске самой истории. Более того, опираясь на популярные образцы исторических детективов, я вижу, что это – прямая дорога к авторскому успеху, к формированию собственной авторской личности.

Владимир Мединский написал книгу в лучших традициях исторического романа авантюрного жанра. Он выбрал прекрасную для детектива пору русской истории – Смутное время, которое само по себе представляет столь запутанную картину, что не поддается расшифровке. Знаток русской истории, автор взял на себя обязательство сделать каждую подробность убедительно достоверной. Детали одежды, еды, обрядов, мельчайшие подробности военной жизни – все радует пытливого читателя, который любит почувствовать собственным носом историческую пыль повествования.

В каждом достойном историческом романе есть что-то от радикального искусства комикса. Такое искусство не ценит полутона. Оно обрушивается на читателя со своей правдой о настоящих героях и подлых предателях, о вечной войне света и тьмы, к какой бы идеологии свет и тьма ни относились. У героев должно быть все красиво, вплоть до васильковых глаз, у врагов – жидкие волосы, склонность к пьянству и страсть к золоту. Кто-то скажет, что так не бывает в жизни. Но искусство детектива легко преодолевает *бедность правдоподобия*. Оно ищет лобового столкновения. Наши девушки прекрасны во всех отношениях, у врагов – продажные кralи. Так ведь в «Тарасе Бульбе» этот прием никого не смущает. Да и враг – тот же, гоголевский. Ляхи. А за ними – вся Европа. Но с некоторыми немаловажными исключениями.

В «Стене» задача военно-патриотического детектива – угадай предателя – решена профессионально. Никогда не угадаешь, пока не дочитаешь до конца. От книги не оторваться.

Описывая известные события героической обороны Смоленской крепости в 1609–1611 гг., Мединский складывает уничтоженные предательством трупы в таком порядке, не жалея даже самых трогательных созданий, что забываешь порою, кто с кем борется, – хочется быстрее выйти на финишную прямую разгадки интриги. Как и полагается в классном детективе, эта интрига не ограничивается смоленским местом действия: она раскручивается в международном масштабе, затрагивает тайные могущественные секты, взлетает к помыслам папы римского, и таинственному флоту крестоносцев, опускается в подвалы, набитые не только порохом, но и золотом, – все будоражит воображение.

Но и сама по себе война, вплетенная в интригу предательства, показана масштабно, от Сигизмунда III Вазы, оказавшегося в книге в буквальном смысле голым королем, до наших, обрызганных вражьей кровью богатырей, от чванливых, заживо мертвых (и потому их совсем не жалко) врагов до вдумчивого, сверкающего очочками прародителя советского энквэдэшника с нарочитым именем-отчеством, от европейского борделя до православных аскетов и схимников. Возможно, самым живым героем, не слишком затронутым поэтикой комиксов, оказался в книге не главный витязь Григорий, из типичного «мгимошника» XVII века превратившийся в воина, но человек с исторически мучительной судьбой, оставшейся за бортом повествования, – Михаил Шеин, смоленский воевода. Автор назначил своему герою яркую детективную судьбу, о которой мы умолчим.

Однако его реальный исторический «прототип» не менее интересен: остановив поход поляков на Москву, спасая жену и детей, раненый, он сдастся полякам в плен, окажется на долгие годы в темнице, вернется домой – и проиграет следующую войну. В зеркальном отражении истории он из героя-блокадника, защищающего Смоленскую крепость, превратится в неудачливого полководца 1632 года, осадившего Смоленск, – его казнят (по оговору, предвещавшему судьбы сталинских жертв) как польского агента в 1634 году.

Страшно и непонятно Смутное время. В книге само слово «Стена» приобретает значение не столько крепостного сооружения, сколько символа раскола цивилизации на своих и чужих, словно мы повторяем уроки Данилевского и Шпенглера о несовместимости понятий. Но, невольно отвлекаясь на историю самого Смоленска, в голове рождается еще одна тема – *тема границы*. По какому такому рубежу она проходит? В книге монах авторитетно утверждает, что дело не в нации, а в вере. Только ли?

Граница между Европой и Россией до сих пор проходит не на карте, а в голове. Каждый ее вычерчивает самостоятельно. Идея «Стены» нередко похожа на ментальный реванш. Нас столько раз Запад выставлял дикарями и схизматиками, что хочется наконец развернуть пушки в другую сторону и подчеркнуть всю человеческую слабость тогдашней и всегдашней Европы. Молодой боярин Григорий, путешествуя по Европе, призван указать на моральную и физическую нечистоплотность континента, который в книгах своих путешественников столь жестоко высмеял и высмеивает нравы нашего государства – вплоть до сегодняшнего дня. И потому Григорий, показательный «советский» дипломат, местами, как мне казалось, словно переселившийся в XVII век из молотовского министерства моего детства, со страниц «Хорошего Сталина», видит не столько полотна итальянского Ренессанса и победы ученых, сколько грязные улицы Парижа, полные вони, и грязные папские намерения огнем и мечом выжечь неподвластное ему православие.

Однако соблазны Европы нежны и коварны. Они вливаются в душу не только целомудренной героини романа, но в «душу» всего пограничного Смоленска. Главный предатель «Стены» – это всего лишь отрывок сомнений и терзаний будущей смоленской «шляхты». Только сорок лет польской оккупации – но как же их перекосило, этих смоленских людей! Ведь мы помним по воспоминаниям мемуариста Льва Эндельгардта, что, даже когда Смоленск перестал посылать своих людей в польский сейм и утратил статус города Магдебургского права, они еще весь XVIII век читали польские книги, желали жениться только на поляках и (Господи,

прости их!) *презирали* самодержавную Россию. Вот вам и другой детектив – детектив европейского соблазна, с которым подсознательно борются на стенах Смоленской крепости наши высшей пробы герои.

Смоленск – город мучеников из взорванной в финале книги церкви. Смоленск – предместье Катюши. Смоленск – скандальные архивы обкома партии, попавшие в руки немцев. Смоленск – авиакатастрофа. Вот граница разума. Помню, как недавно, приехав в Смоленск, я удивился обилию у мужчин польских усов. Неужели это тоже с тех «смутных» пор осталось? А моя мама как-то сказала мне, что мои предки связаны со Смоленском – может, поэтому я задаю такие вопросы?

Но нет. Граница проходит не только по рациональному признаку. И здесь мы подходим к самому ответственному моменту романа Владимира Мединского. Все время осады нашим войнам словно помогает (или им кажется, что помогает?) что-то необычное. Мистические птицы. Мистические знаки. Мистические сны. А почему? Просто, Бог на нашей стороне. Вот так просто и ясно. Мы проиграем, пролив реки крови, время такое – смутное. Но будущее будет за нами. Большая добрая война с Польшей за сбор русских земель снова начнется от Ключа-города, нашего Смоленска. Пепел и алмаз сердца! Здесь вновь рождается тема веры. Веры, которая дает человеку силу преодолевать историю, что, как ни верти, всегда была и остается Смутным временем. Другим она нас, их, всех никогда не баловала. Этим мы все: русские, поляки, европейцы – без исключения схожи, разница – незначительная.

Книга Владимира Мединского рассчитана на двойной читательский интерес. Детектив приковывает к себе хитросплетением острой интриги. Историческая точность вызывает желание узнать больше о тех смутных, но ярких временах, о его героях эллинского масштаба.

И если, закрыв книгу, вы захотите прочесть об истории России что-то еще, посмотреть талантливый исторический фильм, расспросить своих детей, о чем им рассказывает в школе учитель истории, или, может, самому, посадив детей на диван, пересказать эту впечатляющую историю борьбы, гибели и победы Смоленска, – значит, это удача автора. С чем я его и поздравляю!

Любовь к истории – верный путь к самопознанию.

Автор выражает признательность: ведущему специалисту Института российской истории РАН, д-ру. ист. наук Людмиле Морозовой;

руководителю Издательства Московской Патриархии, протоиерею Владимиру Силувьеву;

капитану сборной России по историческому средневековому бою, руководителю центра исторического фехтования «Эскалибур» Андрею Зимину;

профессору Московской духовной академии, протодиакону Андрею Кураеву, писателю Виктору Ерофееву

и, самое главное, Марине – за помощь, консультации и ценные советы.

Отдѣль 1

Пером и шпагой (1609. Июль – август)

*Азов славен, Смоленск грозен.
Народная поговорка*

Неудачный день (1609. Август)

Всадник гнал коня до самой городской стены и лишь у ворот заставил себя натянуть поводья. Выезжая из города, он даже голову опустил – казалось, стражники обязательно заметят его бледность и лихорадочные глаза и прикажут остановиться. Но солдаты даже не посмотрели на проезжего: мало ли их тут шастает взад-вперед. Время ночной стражи не наступило – мост опущен, решетка ворот поднята – ну так и пускай себе едет с Богом... Несет куда-то из города на ночь глядя, но это ведь не наше дело, правда? В Северной Вестфалии¹ хватает придорожных трактиров, чтобы найти ночлег.

Проехав шагом по мосту, путник вновь пустил коня галопом. Небо из синего делалось бледно-лиловым, дорога тонула в вечернем сумраке, с реки наползали белесые полосы тумана.

Когда всадник решился оглянуться, городских стен уже не было видно. Только громадная башня Кёльнского собора с торчащим из нее краном маячила на горизонте. И позади, и впереди не слышалось ничего, кроме ленивой переклички пичуг в окаймлявшей дорогу роще да мерного плеска весел – Рейн не спал ни днем ни ночью.

Погони вроде не было – стук копыт ему лишь почудился. В очередной раз почудился...

Ну и слава Богу.

«В конце концов, – подумал беглец, – ведь никого, ни одной живой души рядом не было... А если кто смотрел в окно, разве мог меня разглядеть? С чего я вообще решил, будто за мной будет погоня?!»

Тут ему стало ужасно досадно. Вот уж показал отвагу, нечего сказать! Бежал, как нашкодивший мальчишка... Хотя. Кто это сказал: «лучше позорно бежать, чем храбро болтаться на виселице»? Кто-то, верно, из великих европейских умов. И никогда ведь не докажешь, что не ты напал, а на тебя напали. Как говорят, опять же – были ложки, не было ложек. Судье не объяснишь.

– Господи, спаси и сохрани! – прошептал беглец и размашисто перекрестился.

Так или иначе, все обошлось – если не считать того, что приходится теперь скакать среди ночи неведомо куда, чтобы поскорее покинуть не только Вестфалию, но и вообще Священную Римскую империю...²

А ведь день начинался прекрасно.

На рассвете он въехал в эти самые ворота и оказался в вольном городе Кёльне. Он был и не был похож на прочие европейские города. Каким-то хитрым образом в нем соединились возвышенная, строгая чистота готической старины, деловитая практичность суетного семнадцатого века и веселость совсем не немецкого, а скорее южного города. Запрокинув голову, молодой путешественник чуть не час простоял возле громады Кёльнского собора. Его возводили уже несколько столетий, но пока из двух башен построили только одну – и ту наполовину.

¹ Вестфалия — историческая область на северо-западе Германии.

² Священная Римская империя (германской нации) (962 – 1806) – государственное образование со сложной иерархией, в котором доминировала Германия. В лучшие свои годы простиралась от Балтики до Средиземного моря, однако императорская власть была в этом конгломерате независимых государств, по сути, символической.

Стрела подъемного крана³, торчавшая прямо из нее, сама по себе стала городской достопримечательностью. Грегори – а путешественника последнее время обычно все так коротко и звали – со всей почтительностью, придерживая шпагу, поинтересовался у местного бюргера, есть ли сведения, когда будет достроен собор. Тот, несмотря на классические лысину и брюшко, предполагавшие обстоятельность, легкомысленно ответил, что никогда, и тут же позвал пропустить стаканчик. Грегори отказался. В мерцающих сумерках собора его ждала встреча с мощами трех царей – трех волхвов, возвестивших явление миру Христа. Собственно, ради этой святыни он и сделал крюк по пути на Родину.

Из храма – а Кёльнский собор уже более трех веков строился именно как грандиозное хранилище для золотого ларца с мощами – путник вышел словно просветленный. Он забрал у служки свою шпагу, дав тому серебряную монетку, отвязал коня и огляделся. От площади расходились в разные стороны улицы – с домами, похожими один на другой: у большинства нижний этаж кирпичный, а верхние, один или два, деревянные. У некоторых эти верхние этажи, по принятому в больших европейских городах обычаю, выдавались примерно на аршин над нижними, делая и без того неширокую улицу темной и прохладной. Выглядит весьма романтично, только вот к вони столь же традиционной сточной канавы, проходящей ровно по середине брусчатки, Грегори за время своего путешествия так и не привык. Все европейские города, что в Германии, что во Франции, пахнут одинаково, только какие-то повонючее.

Грегори улыбнулся про себя, вспомнив, как ему с хохотом рассказывал один бургундский кузнец, поправлявший подковы: «Будете подъезжать к Парижу – сначала почувствуете запах, а не пройдет и получаса, как увидите городские стены – ха-ха-ха! И эти голодранцы еще именуют себя столицей королевства! Ха-ха! Вскочки и невежи, не знающие толком ни как молиться, ни как помыться. Виданное ли дело: сам король – этот беспутный прощелыга и еретик Анри – меняет веру как девок. Да, каков государь, таково и государство. Ничего, возродится еще наше герцогство – помяните мое слово, месье, возродится!»⁴

«Да, – отгоняя воспоминания, покачал головой Грегори, – и представить нельзя, чтобы у нас дома простой кузнец столь же вольготно крыл своего Государя... даже представить... Впрочем, чтобы монарх добровольно менял веру – такого тем паче представить невозможно. А тут это за норму. И не то, что сами короли перекрещиваются туда-обратно, так зачастую и подданных заставляют. Как говорят в Германии, «чья власть, того и вера!». Если местный курфюрст или герцог стал поклонником богохульника Лютера – добро пожаловать всем подданным в лютеранство. А ежели народился добрым католиком – тогда все! – смерть протестантам! Все будем строгой католической веры. И ничего – живут люди: радуются, женятся, детей рожают да добро наживают. Может, так оно и можно? Бог-то один – как любят говорить нынешние ученые-философы, а вероисповедание – уже вопрос традиции»...

Эти греховные мысли давно уже одолевали Грегори, и вот, пока он окидывал взором Кёльнские башни, – снова полезли ему в голову... Фу! Он тряхнул головой так, что шляпа едва не слетела на мостовую.

Портить утро глупыми философствованиями совершенно не хотелось. За городской стеной дышалось свободнее, и всадник повернул коня в сторону реки. В большой торговый порт

³ Работы на южной башне собора были прекращены в XV веке, и на высоте 50 метров застыла огромная лебедка – ручной подъемный кран. В таком виде немецкий долгострой простоял 400 лет.

⁴ Объединение французских земель вокруг Парижа в XV–XVI веках шло не менее трудно, чем «сбирание русских земель» московскими князьями. В этом плане отношения королей и Великого Герцогства Бургундского весьма напоминают перипетии истории Москвы и Господина Великого Новгорода, правда в гораздо более жестком и циничном варианте. Порой лишь хитрость и беспринципность монархов удерживали Францию от распада и новых витков религиозных войн. «Париж стоит обедни», – говаривал самый популярный монарх Франции и положительный герой бесчисленного множества исторических романов, пьес и фильмов Генрих IV Наварский: ему пришлось трижды сменять вероисповедание в угоду политической конъюнктуре. На это и намекает кузнец.

по Рейну приходили корабли и лодки, груженные разнообразнейшим товаром, отсюда отчаливали суда, на которых купцы везли изделия цехов и мануфактур в разные города и страны.

Приезжий полюбовался сверкающим в утренних лучах широченным Рейном, посмотрел, как сворачивают паруса матросы торговых шхун, как с веселой песней тащат с баркасов на берег корзины с рыбой и ободранные бараньи туши. И вдруг вспомнив, что вчера только обедал, а ужинать не пришлось, отправился искать трактир.

На углу широкой площади он нашел заведение, в дверях которого горделиво застыл самолично хозяин, ничуть не похожий на обычного бюргера, – у него не было ни выпирающего из-под холщовой рубахи брюха, ни пушистых усов до подбородка, ни лысины. Был он высок и худощав, в красном сафьяновом камзоле без рукавов и в красных же башмаках на деревянной подошве.

– Ищите, где остановиться, господин? – дружелюбно спросил он приезжего.

И тот, сразу почувствовав к хозяину расположение, ответил:

– Кажется, уже нашел.

– Тогда слезайте с коня. Мой сын отведет его в стойло, напоит и накормит... Эй, Хайнц, живо сюда! Судя по выговору, вы приезжий. Откуда пожаловали? Не из Баварии?

Трактирщик был определенно человеком опытным, привычным ко всякого рода постояльцам – кто только не приезжает в славный город Кёльн, – однако ответ путника все же его изумил.

– Что вы говорите! – Хозяин удивленно задрал брови. – Никогда в жизни не видел живого москвитя! Но выглядите вы вполне нормальным европейцем.

– Надеюсь, – безо всякой обиды ответил приезжий.

На вид ему можно было дать лет двадцать пять, и, когда он ловко соскочил с коня, кинув поводья подбежавшему мальчугану, оказалось, что он высок и весьма ладно сложен. Аккуратно выбритое лицо, тронутое дорожным загаром, обрамляли светлые кудри, отпущенные по последней местной моде ниже плеч и еще не совсем развившиеся после того, как пару дней назад над ними поработал цирюльник. Одет москвит был в длинный модный камзол – малиновый с серебряными пряжками, широкие плисовые штаны и идеально гладкие чулки, белизну которых почти не испортила дорожная пыль. Башмаки, определенно голландские, с вытянутыми носами и тоже с серебряными пряжками, даже вызвали зависть хозяина – в Кёльне таких не делают!

«Ну и горазды же врать эти иезуиты! – подумал про себя с ухмылкой немец, провожая гостя. – Каждый знает: москвиты носят бороды до пояса, а на головах меховые шапки высотой с печную трубу! К тому же у их мужчин одежда длиннее, чем у женщин, и летом они всегда разодеты в жаркие меха... Если этот папский шпион – москвит, то я, пожалуй, сам экселенца Борджиа, ну-ну...»⁵. Трактирщик всегда интересовался рассказами своих клиентов и постояльцев о дальних странах и чужих обычаях и почитал себя не без оснований крупнейшим знатоком европейской географии.

Возле печи хлопотала женщина лет на десять моложе хозяина, в опрятном чепчике и в фартуке, из-за крахмала похожем на вздувшийся парус.

– Моя супруга Анне, – представил женщину хозяин. – А могу я узнать имя нашего уважаемого гостя?

⁵ В середине XVI века в Ватикане осознали опасность протестантизма и запустили механизм, который получил название Контрреформации. Деятельными усилиями пап римских Пия V и Сикста V протестанты были полностью изгнаны из Италии и Испании. С Францией, а особенно Германией, было сложнее. Приходилось использовать и привычные «дедовские» методы инквизиции, и новые приемы, на которые большими мастерами оказались иезуиты. Шпионские сети были раскинуты по всем протестантским землям Германии. Прямо как в песенке из мюзикла «Три мушкетера»: «Войдешь в трактир – сидит шпион, войдешь в сортир – сидит шпион, а не войдешь – известно кардиналу». А между тем Германия медленно, но верно катилась к катастрофе Тридцатилетней войны (1618–1648).

– Григорий, – сделав небольшую паузу, отозвался молодой человек. – В Голландии меня обычно называли Грегом Кольдером, а в Англии – Грегори Коулдом. Или просто – Грегори. Словом, кому как нравилось.

– Гре-го-рий! Гре-го-ри! – раскатисто повторил хозяин. – Очень хорошее имя. И вы прекрасно говорите по-немецки!

«Интересно, как тебя на самом деле зовут, папская ищейка. Может, Грегорио или просто Горио?» – подумал хозяин про себя.

Приезжий явно испытал удовольствие от похвалы.

– Ну, немецкий-то я просто начал учить раньше прочих языков, да и нравится он мне больше всех.

– О! Так вы знаете и какой-то другой язык?

– Знаю, но, конечно, похуже. Французский, шведский, английский.

Трактирщик восторженно прищелкнул языком.

– Так молоды, а выучили столько премудростей! Словно настоящий кардинал! А итальянский не знаете? Нет? Никогда не приходилось бывать в Риме? Господи, зато польский знаете немного?.. Пф! Не представляю, как можно было его выучить.

Григорий вдруг расхохотался. Последнее замечание хозяина ему пришлось почему-то по душе.

Трактирщик продолжал не без иронии демонстрировать свою недюжинную наблюдательность:

– Давайте попробую угадать, зачем вы здесь... Три короля?

– В точку, – удивился Григорий. – Оказаться в Вестфалии и не прикоснуться к величайшей святыне христианского мира...

– Я-то сразу вижу – вы не купец, не моряк, не солдат...

– А кстати! – торопливо перебил его русский. – Кто-нибудь в Кёльне имеет представление, когда будет достроен собор? Что-то я не заметил на башнях ни одного каменщика.

– Никогда.

– Ого, я сегодня уже слышал такой ответ!

– Неудивительно. По легенде, Кельн будет жить и процветать, пока собор не будет достроен, – ухмыльнулся трактирщик, и крайне довольный собственной проницательностью – влет раскусил молодого иезуита! вот что значит знать правду о дальних странах и народах! – удалился в сторону кухни.

Словом, с утра день русского дворянина Григория Колдырева (вопреки всем подозрениям трактирщика, это действительно был русский и так его на самом деле звали), оказавшегося в дальних странах по воле Посольского приказа⁶, складывался как нельзя удачнее. И ничто, совершенно ничто не предвещало его бурного продолжения и самого ужасного завершения.

Особое удовольствие от позднего завтрака доставляло то, что столы трактирщик выставил на свежем воздухе. Вот что Григорию нравилось! «Эх, таких столов да лавок прямо на зеленой мураве широких московских площадей мне будет не хватать, – размышлял он. – Наши-то набьются как селетки в бочку, чад, гам, теснота... А здесь сидишь, сам себе господин, людей разглядываешь, а они – тебя. Европа!»

Прямо над Григорием размещалась веселая вывеска, которую сразу не заметил: она изображала толстого бургера, держащего в руке колбасу и уже откусившего от нее. А колбаса у хозяина, ничуть не напоминавшего толстяка с картинки, и впрямь была отменная, не зря немцев все называют колбасниками!

⁶ *Посольский приказ (1549–1720)* – первое дипломатическое ведомство России.

Итак, молодой путешественник сидел за массивным столом, поглощая уже вторую вкуснейшую колбасину и запивая ее не менее вкусным местным рейнским. Он похвалил вино хозяйину – этот европейский обычай оценивать вино ему тоже очень нравился, – и тот сразу принес второй кувшин, сообщив, что это из другой бочки и за счет заведения.

Особой разницы Григорий, если честно, не заметил, но впал в совсем уж благодушное и мечтательное настроение. Разглядывая растущий прямо из-под стены трактира виноград, он думал о том, что надо бы чтобы в Москве вот так же выставляли столы.

«Правда, не зимой, – уточнил он смелый план и даже ухмыльнулся, представив красноносых мужиков в тулупах, выковыривающих пальцами из чарок замерзшее хлебное вино. – И, конечно, не осенью. Дождь да ветер. И лучше не весной. Зябко еще, пока снег-то не сошел. А вот летом – красота!.. Хотя летом, признаться, будет слишком жарко».

Харчевня расположилась неподалеку от известного всей Европе Кёльнского университета. Здание, возведенное полтора века назад, высилось в конце улицы, Григорий рассматривал его четкие, строгие линии, – хотя, сказать по чести, к концу второго кувшина они стали не такими уж четкими и строгими, – как вдруг на улице вспыхнула ссора.

Ссорились несколько молодых людей, по виду – студентов: визгливо бранясь, они наскандывали на молодого мужчину несколько их постарше. Тот же, встав в позу, выдающую полнейшее презрение, и даже скрестив руки на груди, выслушивал оскорбления с усмешкой.

– Проваливай из нашего университета, хам, солдатня! – вопил со вкусом завитый и румяный молодец со свисающей из левого уха бриллиантовой сережкой. – Благородная наука не для тебя!

– Тебе бы только своими железками в кузнице ворочать! – захохотал другой, видом покрепче и посильнее, но с таким же неестественным румянцем. – И ты еще рассуждаешь о том, чего твоим плебейским мозгам в жизни не понять!

– А мы сродни римским патрициям! Мы не боимся замшелых запретов! – крикнул третий.

– Да куда ему! – возопил студент с сережкой. – Конь дубовый! Я знаю, у него это по наследству – и отец его такой же тупоголовый вояка, а дед тот вообще...

– А вот отца и деда трогать, господи, не стоило, – негромко сказал объект насмешек.

В тот же миг в руке его сверкнула шпага – никто и не заметил, когда он успел выхватить клинок. Один незаметный взмах – и бриллиантовая серьга шлепнулась на землю, а вслед за тем нарумяненную щеку украсила небольшая в вполвершка косая царапина, из тех что заживают у юношей уже к следующему утру, не оставляя, к их разочарованию, даже намека на мужественный боевой шрам. Однако молодчик завершал так, словно его проткнули насквозь.

Его обидчик медленно вложил шпагу в ножны и проговорил подчеркнуто спокойно, словно ничего только что и не произошло, но Григорий его хорошо слышал:

– К вашему сведению. Предки мои воинами не были. Правда, имели прямое отношение к оружию. И отец, и дед у меня – оружейники, и я ими горжусь. Сережку подбери, сопляк, починишь у ювелира, а я считаю на этом сатисфакцию достаточной...

Вполоборота развернувшись на каблуках, он явно собирался уйти, но тут секундная оторопь его обидчиков прошла – и шпаги разом оказались в руках всех пятерых.

И тут студент, названный солдафоном, вполне оправдал свое прозвище. Выпад в спину он отбил молниеносным движением без замаха, с полуоборота, казалось, даже не обернувшись и не видя соперника, а лишь предвосхищая направление удара. Его шпага стремительно замелькала, выписывая в воздухе странные фигуры на уровне лиц противников и неожиданно ударяя – то слева, то справа – по плечам и рукам нападавших. И если бы он рубил по-настоящему – лезвием, то юнцы вполминуты остались бы с резаными ранами, а кто-то, может, и без руки. Но удары плашмя тяжелой мушкетерской шпаги, коя была длинней оружия его противников чуть не в полтора раза, лишь оставляли ссадины и синяки – не калеча нападающих.

Лицо защищавшегося при этом даже не покраснелось, более того – выражало откровенное удовольствие.

– Раз вам так хочется, готов обучить вас своей солдафонской науке! – повысил он голос. – Что, содомиты паршивые, боитесь подступиться? Ну что же вы? Шпага – не алебарда, это не так уж страшно... Ну, вперед!

Содомиты!

Слово, произнесенное студентом, разом все объяснило Григорию.

Не раз доводилось ему слышать, что при университетах Европы нонче возникают компании юношей, несколько, скажем, излишне увлеченных просветительскими идеями. Конечно, в этом заключается определенная опасность – содомский грех осуждается не одной только Церковью... однако в крупных городах у них всегда находятся влиятельные покровители – тайна объединяет и связывает верной порукой, говорят, они образуют потаенные общества, которых иной раз опасаются даже власти...

Григорий сам не понял, как оказался не за столом, а на улице – и со шпагой в руке.

– Господа! Впятером на одного – нечестно, вы так точно потеряете право называться мужчинами...

Одиноким вояка бросил лишь один взгляд на человека, неожиданно вставшего рядом с ним. У «солдафона» было хорошее лицо – с правильными, крупными чертами, украшенное пушистыми, ржаного цвета усами, и неожиданно по-детски светло-голубыми глазами.

Студенты не ожидали вмешательства и дрогнули, чем усатый и не замедлил воспользоваться. Одного он пресильно треснул шпагой прямо по предплечью возле гарды. Противник был без обычных для поединка длинных – в локоть – перчаток из толстой кожи, а потому, истошно завопив, выронил короткую шпагу с замысловато украшенным эфесом, и, затряса рукой, отскочил в сторону. Другого «солдафон» – как бы продолжением того же изогнутого удара – угостил плашмя по широкополой шляпе с пижонскими цветными перьями. Тот закачался и рухнул на задницу, нелепо уставившись в глубину улицы. «Были бы мозги – наверняка получил бы сотрясение мозга», – глядя на ошоловевшего студента, вспомнил старую шутку Григорий.

Тут-то противники и показали спины – хотя в данном случае, скорее, зады. И Григорий удержаться не сумел. Поступил, признаемся, неблагородно. Проводил одного из замешкавшихся студентов, легонько ткнув острием шпаги в то место, которое служило самым ярким выражением его свободомыслия. Вновь раздался отчаянный вопль, и вся компания резво припустила прочь, провожаемая дружным хохотом русского и немца.

Только тогда усатый повернулся к неожиданному союзнику:

– Спасибо. Я бы и сам справился, но всегда приятно, когда кто-то встает с тобой плечом к плечу...

– Я, вообще-то, прибыл с миротворческой миссией... Честно, думал вас с ними разнять. Но соблазн оказался слишком велик.

– Господи, кого только не носит земля германская! Стыдно за родину, право слово. А ведь их становится все больше и больше, вон, даже в университете завелись, выживают постепенно честных христиан...

– Не переживайте, добрый господин. – Григорий приятельски хлопнул «солдафона» по плечу и уверенно сказал: – Это всё наносное. Неприятные, но временные плоды свобод и просвещения. Вскоре они исчезнут сами собой.

– Хотелось бы верить, – вздохнул немец.

– А как иначе! Влечение мужчины к мужчине есть всего лишь порождение ущербного разума, противоречащее законам Бога и природы – ведь родить друг от друга они не смогут, а значит – обречены на вымирание!

– Золотые слова, – вынужден был признать рыжеволосый. И протянул руку: – Меня зовут Фриц.

– Григорий.

Ладонь немца оказалась сухой и крепкой.

«На Руси такого безобразия уж точно никогда не будет», – подумал Григорий. На секунду представил себе, как по улицам Москвы неприкрыто, не таясь, идут парадом сотни напомаженных, накуряченных мужчин в женских платьях, и прыснул в кулак. Нет, милостивые государи, такое возможно только в ошалевшей Европе, но уж никак не дома...⁷

– Что вас так развеселило? – спросил Фриц.

– А, пустое. Лезет в голову чушь всякая... Выпьете со мной? Здесь отличное рейнское.

Фриц развел руками:

– Увы! Мне давно уже нужно быть в другом месте. Простите, дружище! Возможно, нам еще повезет встретиться?

– Все возможно в этом мире, – философски заметил русский. – Желаю доброго здоровья.

И вернулся к себе за стол. Столь лихая виктория, к тому же на виду у нескольких милых трактирных служанок, которые развнузавшись, с восторгом смотрели на победителей, – все это окончательно привело Григория в радостно-залихватское безоблачное настроение. Допивая второй кувшин, он уже строил планы, к какой из фройляйн стоит повнимательнее подкатить за ужином, а пока решил снова отправиться в порт. Поглазеть на форму и оснастку европейских судов да, может, поболтать с кем из матросов. Последнее время морская тема его стала особенно занимать... Сильно навеселе, он кивнул хозяину, выбрался из-за стола и побрел по пустынным улочкам к Рейну.

Дойти до порта у Григория в этот раз не получилось.

Он вовремя услышал за спиной подозрительный шорох и успел обернуться в то самое мгновение, когда темная тень, отделившись от стены, метнулась к нему. Было еще светло, даже на узкой улочке, и Колдырев прекрасно разглядел узкое стальное лезвие, покачивающееся у него прямо перед носом. Узнал он и нападавшего: то был один из пятерки «патрициев», тот, которого он весьма непристойно кольнул в зад. Видно, он следил за русским, терпеливо выжидая, пока тот останется один.

– А ты парень из благородных! Сразиться один на один – это достойно! – пробормотал Григорий по-русски и, отскочив назад, выхватил шпагу.

Дрались они всего полминуты, но схватка всегда кажется долгой.

Нельзя сказать, чтобы Григорий был непревзойденным фехтовальщиком – он, как и положено каждому молодому дворянину, терпеливо обучался азам этого искусства, но, увы, вершин не достиг... Хуже того, один из учителей (а сменилось их немало – да все без особого толку) как-то и вовсе обозвал его «деревяшкой». А вот «патриций» фехтовал недурно и, на удивление для жеманного красавчика, напористо. Григорию, к тому же еще и хмельному, определенно было бы несдобровать... Спас его – нет, не случай и не чудо, а хитрый прием, которому совсем недавно в Париже научил Колдырева один знаменитый шпажист...

Григорий оказался буквально создан для этого приема – редкого, требующего особой слаженности движений рук и ног и потому почти неизвестного в среде даже профессиональных фехтовальщиков. Однако то ли телосложение Колдырева, то ли особенности его природной реакции, то ли и то и другое вместе позволили всего за несколько уроков освоить удар и впредь поражать соломенные чучела стремительно и точно, удивляя даже самого мастера. В драке с настоящим, живым противником пользоваться этим приемом Колдыреву никогда, конечно, не

⁷ К чести Европы, в те времена она боролась с безнравственностью активно и успешно. Большинство реляций воеводу действовавшей и в XVII веке Инквизиции касалось не ведьм, а именно случаев «содомского греха».

доводилось, ему казалось, что он и вовсе его позабыл, однако сейчас тело как бы само, без помощи хмельного разума вспомнило последовательность движений...

Едва заметное глазу вращательное движение кистью, обманно качнуть влево, выпад – и удар! Снизу вверх, безжалостно и хладнокровно, как учил шпажист, целя содомиту промеж глаз, в точку прямо над переносицей.

Он даже удивился, как легко лезвие вошло аккуратно между бровей. Противник на мгновение замер, затем колени его подогнулись, и бездыханное тело мягко осело наземь...

Колдырев некоторое время стоял, растерянно глядя на черное пятно, что упорно ползло к его ногам из-под скорченного на мостовой тела. Страх возник позже, разом вытеснив возбуждение драки и мгновенное упоение победой.

Господи, он же взаправду убил человека, судя по манерам и одежде, из знатной семьи! Спаси и сохрани!

Убил честно, в поединке? Но где секунданты? Свидетели? И кто сказал, что это послужит оправданием? А если всплывет еще и смерть сэра Артура Роквеля!..

...Потом Григорий все пытался вспомнить, как вбежал в залу трактира, где, на счастье, не было ни хозяина, ни его жены, как бросил на стол горсть монет, как потом дрожащими руками отвязал своего коня и, читая «Богородицу», выводил его на улицу... Но память отказывала – в себя он пришел только за городскими воротами.

И вот вольный город Кёльн остался далеко позади, а впереди – ночь, ползущий с Рейна туман и полная неопределенность – куда направиться и, вообще, что теперь делать. Вверил он свою жизнь воле Божьей. И воля та, непреклонная и суровая, начала незамедлительно исполняться...

Зловещий корабль (1609. Июль)

Однажды Григорию сказочно повезло. Собственно, именно с этой сказки и начались его приключения. Случилось это зимой 1608 года. Грише шел двадцать пятый год, на дворцовой службе он был без пяти минут стольником, а в Посольском приказе пользовался доверием просто-таки безусловным. Приказ уже не раз испрашивал у Дворца дозволения использовать Григория для всяческих поручений. Потому, когда из Англии прибыл некто господин Роквель и сообщил, что приехал за большой партией горностаевых шкур, заказанных, ни мало ни много, королевским двором, в помощь ему дали, конечно же, Колдырева. Англичанин, ко всему прочему, доставил партию прекрасных нюрнбергских часов, желал их выгодно сбыть, а уж тут Григорию предстояло толмачом потрудиться: такой товар шел покамест далеко не везде, и разговаривать с московскими покупателями надобно было с особым умением.

Сбыв-таки часы, Артур Роквель поехал с Григорием на север, за этими самыми горностаями. Пересмотрел их целые груды, но остался недоволен и покати к югу, как раз в сторону Смоленска, однако же и туда не заехал, вновь повернул на север, в сторону Ивангорода⁸, и, наконец, познакомившись с артелью звероловов, промышлявших чуть ли не за самим Уралом, закупил наконец у них искомое.

Григорию нравилось путешествовать, однако он все меньше и меньше понимал, чего хочет его спутник. Везде тот подолгу говорил с местными, расспрашивал не только об охоте, но зачем-то о торговых делах, о том, кто в эти места приезжает, а пуще всего интересовался местными преданиями и легендами, рассказами о всяких необычайных событиях. Грише он объяснял, будто собирается в будущем написать книгу о Московии и тем прославиться.

Возможно так оно и было: таковых сочинений о Руси уже было написано европейскими путешественниками немало. Думный дьяк в Приказе страсть как любил собирать иноземные книги, особенно где писалось о Руси. В клетушках его с низкими каменными сводами и тусклыми зарешеченными оконцами, где обитал он один, пышно именуя свои рабочие покои «Палатами», у дьяка аккуратно разложенными хранились всякие изданные в заграничье разноразличные труды «о Московии»: от знаменитых Герберштейна и Меховского до редких Поссевино и Флетчера⁹. Большей частью они бывали куплены где-то по случаю нашими купцами в Кракове, а чаще – в Любеке. Но были и привезенные иностранными послами специально – чтобы потом с важностью быть дареными главе Посольского приказа. Иноземцы ведали, что вопреки многим слухам главный посольский дьяк никаких подношений не принимает, и только лишь к книгам – особенно к иноземным книгам, где поминается Русь и московский государь, – испытывает жадную страсть. И потому завсегда стремились их ему поднести, причем неизменно в самом дорогом издании и ценном окладе. Рассказ этот к тому, что иногда под хорошее настроение дьяк давал эти книги поизучать и Гришке, строго наказывая: без выноса из Приказа. Так сказать, для познания заморских философий, и заодно – полезного языкового учения.

...В общем, со всеми этими расспросами и беседами они с Роквелем потеряли уйму времени. В Москву вернулись только по весне. Зато Артур предложил Григорию договориться с Приказом о совместной поездке в Европу. Пояснил, что собирается выгодно продать избыток шкур в Германии и во Франции, однако не знает ни немецкого, ни французского наречий, а тамошние переводчики куда дороже.

⁸ *Ивангород* – крепость на реке Нарва, заложенная Иваном III в 1492 году. Ныне г. Ивангород находится в Петербургской области на границе с Эстонией.

⁹ Сигизмунд Герберштейн «Записки о Московии», Матвей Меховский (Матвей из Мехова) «Трактат о двух Сарматиях», Антонио Поссевино «Московия», Дж. Флетчер «О государстве Русском».

Предложение привело Гришу в восторг, и он молил Бога, чтобы Приказ сумел договориться с Дворцом и его отпустили в столь длительное путешествие: мистер Роквель соби-
рался пробыть в Европе несколько месяцев. Начальство поначалу, конечно, и слышать о том
не желало, но узнав, сколько англичанин собирается заплатить за поездку толмача, округлило
глаза и спорить не стало.

Григорий был счастлив.

Правда, перед самым отъездом думный дьяк в Приказе как-то неожиданно вызвал Кол-
дырева к себе и, плотно притворив низенькую, обитую железом дверцу, внимательно посмот-
рел ему в глаза:

– Ты вот что, Григорий Митрич, службу свою делай справно, да при том за англичани-
ном приглядывай. Что-то чуден он больно – по Руси мотается все туды-сюды, лишние версты
крутит, тебя вот с собой берет тоже, коли честно, не понять зачем. Чую, дело тут непростое.
В общем, впрямую ему не показывай, но приглядеть пригляди. Ну и привет Парижу с Лонди-
нием, конечно, передай.

– А как же мне за Роквелем приглядывать? – растерялся Григорий.

– Глазами.

В Колывани¹⁰ – нынешние хозяева города шведы называли его Ревелем – они погрузились
на корабль мистера Роквеля и отбыли в Европу.

Артуру Роквелю на вид было лет сорок или чуть побольше. Высокий, поджарый, с длин-
ным бледным лицом, обрамленным негустыми, но всегда мастерски завитыми каштановыми
волосами, являвшими на лбу внушительную плешь, он выглядел скорее ученым-алхимиком –
по крайней мере именно так Григорий их себе и представлял. Деловая хватка у него опреде-
ленно была, да и не послал бы двор короля Якова по такому важному делу человека неспособ-
ного, но казалось, что всякие странные разговоры занимают его куда больше торговых дел.

Они методично останавливались в разных европейских портах, причем во многих из них
мистер Роквель явно не собирался ничего продавать. Да и не мог: в скромных шведских, дат-
ских, немецких городишках уж точно никто не купил бы русских горностаев. Бесценный груз
они большей частью сдали на королевские таможенные склады в Лондоне, потом с образцами
и малыми партиями побывали в Париже, в Голландии, где Роквель провел больше всего вре-
мени, но Григорий его почти не видел.

Артур продолжал расспрашивать старых моряков о кораблях, которые сюда заходили,
под какими флагами и что было написано на их бортах; о том, какие здесь случались интерес-
ные события в прошлые века и недавно. Порой показывал морякам рисунок корабля, который
Григорию страсть как хотелось рассмотреть внимательно, но попросить он не решался. Артур
спрашивал, не видали ли здесь такого. И когда моряки недоуменно качали головами и гово-
рили, что такие корабли уж лет сто по морям вообще не ходят, англичанин смеялся:

– О, я это знаю! Но, быть может, сохранились какие-то рассказы?

– Тоже для книги вашей? – не удержавшись, спросил однажды Гриша.

– Возможно, мой друг, возможно! – азартно воскликнул мистер Роквель.

И при всем при этом партия меха была успешно распродана. Артур, весьма довольный
(он и в самом деле неплохо нажился), спросил, не поедет ли Колдырев с ним еще и в Италию.
Когда же Григорий ответил, что не знает итальянского и будет там совершенно бесполезен,
Артур весело прищелкнул языком:

– О! Мы поедem в Венецию. Это – государство купцов. Почти все они говорят хотя бы
по-французски. Хоть чуть-чуть. А вот по-английски совсем не говорят.

¹⁰ Колывань – русское название Таллина.

Венеция! Сказочный город Веденец, о котором Григорий столько слышал и читал! Только вот для чего сподобилось мистеру Роквелю, уже все продавшему, ехать на Средиземное море?

Григорий колебался.

– Ну что вы, право слово, раздумываете? Не сомневайтесь, я вас щедро вознагражу, – наседали Артур. – К тому же ваше ведомство обещало мне ваши услуги до конца путешествия, не так ли?

– Так-то оно так, да очень уж долго!.. А что, сэр, вы и в Венеции собираетесь искать ваши старинные корабли?

– Не только, мой друг, не только! – воскликнул англичанин и, по своему обыкновению, рассмеялся.

...Разговор происходил в одном из немногих уцелевших трактиров города Брюгге. Как Колдырев не мог понять, зачем Роквель продолжает держать его при себе, так для него оставалось загадкой, зачем они приехали в этот некогда славный, а ныне мертвый город.

Всю судьбу Брюгге можно описать словами праведного Иова, которые стали русской поговоркой «Бог дал – Бог взял». Когда-то в давние времена после жестокого шторма жители обнаружили, что их город в нескольких верстах от побережья соединился с морем прорытым волнами и ветром каналом. Этот неожиданный подарок природы привел к процветанию неожиданно возникшего удобного морского порта. Брюгге стал важным центром для могущественной Ганзы. В пору расцвета одних только англичан в нем жило чуть ли не столько же, как в Лондоне.

А потом канал вдруг начал мелеть и быстро пришел в негодность. Море ушло – и ушла жизнь. Заколотив свои добротные дома, бюргеры расточались по миру. Оставался только тот, кому уж вовсе некуда было деться. Чем уцелевшие горожане жили, просто непонятно. Однако «пушного купца» Артура Роквеля полное отсутствие покупателей, казалось, не смущало. Каждый раз, возвращаясь из ратуши, он радостно потирал руки: «Интереснейшие тайны хранят архивы Ганзы, интереснейшие!»

На столе перед путешественниками высились, как крепостные башенки, две глиняные кружки пива, а на блюде лежали тушеные караси и полкаравая.

Артур пустился в увлекательные рассказы о жизни Венеции... о том, как они туда поедут, как будут плавать на гондолах...

– Показали бы мне хоть кораблик ваш! – не утерпев, прервал рассказчика Григорий. – Столько раз при мне его другим показывали, а я и не видал, чего вы там ищете.

– Охотно, мой друг! – купец беззаботно рассмеялся. – Охотно покажу. Только какая вам будет польза? Ведь в Московии нет своего флота, что же вы можете понимать в кораблях?

– А вот тут вы совсем не правы, – насупился Колдырев. – Флота у нас военного пока нет, правда ваша. Но, надо думать, вскоре будет. А вот торговое мореплавание на Руси издавна в почете. Только у нас морские промышленники, зверобои да купцы не на кораблях, а на больших лодках ходят – кочи называются. По ледовитым морям так оно надежнее. Ваши соотечественники, сэр, когда к нам в Холмогоры на таких кораблях, как ваш, припожаловали, помните? Полвека назад. Да и то – половина разбилась, да половину льдами затерло. А наши на своих кочах еще задолго до этого и в Северное море, и на аглицкие острова ходили. Если льдом эти суденышки затирает, то не плющит, как большие корабли, а наверх выдавливает – так они хитро устроены. Могли бы ходить поморы к вам хоть круглый год. Да только ничего интересного наши промышленники в ваших краях, извините, сэр, не нашли – ни зверя морского, ни рыбы красной. Батюшка мой о том сам мне рассказывал, он на севере служил и Двинскую летопись читал. Вот меня и любопытство берет, какие корабли прежде у европейцев были. Всегда на верфях стремлюсь посмотреть – что строят да как, да что лучше делают, чем наши,

особливо в части пушечного боя. У нас-то, конечно, на кочах, дай бог, одна пушечка на носу, а в Европе большой корабль – целая крепость.

Продолжая посмеиваться, Артур вынул из своей сумки кожаный футляр и, открыв его, порылся в тонкой кипе бумаг. Наконец отыскался нужный лист.

– Вот. Посмотрите. Это – малый испанский галеон¹¹, с определенным символом на корме. Уверен, вы ни таких кораблей, ни таких знаков никогда не видывали.

Григорий взял лист и некоторое время его неторопливо рассматривал. Рисунок был выполнен мастерски: неведомый рисовальщик не только в точности воспроизвел пропорции судна, но изобразил и всю оснастку до мельчайших подробностей. В углу листа красовалось небольшое изображение рыцаря в старинных доспехах, верхом на коне, со щитом возле седла и мечом в руке. На щите алым был начертан крест.

Колдырев, вполне оценивший достоинства рисунка, некоторое время его рассматривал. Потом, улыбнувшись, возвратил англичанину.

Он узнал и этот корабль, и этот символ.

– Такого в точности корабля не видел, ваша правда, – сказал он. – Такого, чтобы на нем была вся оснастка, паруса... А вообще-то у нас такой кораблик, в окрестностях Смоленска на Днепре стоит. Как раз у той деревни, где мой батюшка живет. И именно с таким знаком на корме: равноконечный красный крест, да на белом щите... и концы именно вот так расходятся, что он становится восьмиконечным.

Он ожидал, что Артур удивится, однако то, что произошло с купцом, даже слегка напугало Колдырева. Мистер Роквель привстал, потом снова плюхнулся на табурет, снова встал и вновь рухнул с такой силой, что будь табурет не добротной фламандской работы, то наверняка бы под тощим задом англичанина развалился. Лицо его при этом побелело, потом вдруг стало пунцовым, рот приоткрылся, словно Артур стал задыхаться.

– Как... Как на Днепре? – потрясенно выдохнул мистер Роквель. – Как такой корабль мог пройти по Днепру?! Я изучал карты – это невозможно! Там пороги, там мели, там... там... Россия!

– Э, сэр, ничего-то вы о нас не знаете! – махнул рукой Колдырев. Даже неудобно ему стало: вроде и образованный человек этот англичанин, а все считает русских чуть не дикими... – Сразу бы меня расспросили. Да наши мужики какой хотите струг, сколь угодно груженный, через всякие пороги протаскивают. Если сильно нужно, конечно... А то ставят дорогу деревянную – и волоком по суше между реками, не одну и не две версты. Про этот ваш галеон я ничего толком не знаю, он бог знает, сколько лет торчит. Уж давно не на воде, а на берегу, в песок весь ушел и деревцами зарос, почти что сгнил – даже борта просели. Мальчишкой я Днепр переплывал и ползал там немало.

Артур одним махом опрокинул в себя половину кружки. Со стуком отставил ее в сто-ронку и утер губы. Все же он удивительно быстро умел приходить в себя. Вот уже вновь разулыбался, переведя дыхание, и спросил:

– А в народе-то у вас что говорят об этом необычном корабле? Как он мог оказаться на окраине Московии, когда приплыл, для чего?

– Тут ничего вам не скажу, – искренне покачал головой Колдырев. – Сказок рассказывают много, но так ведь на то они сказки. Говорят, что, мол, его нечистая сила затащила или ураган когда-то занес. Ну так кто ж в это поверит?.. Правда, один старик, он уже умер, вспоминал как-то, что будто бы смоленский князь плыл зачем-то по морю Черному, к туркам али грекам, может, наведывался... И встретил этот самый кораблик. А на нем никого не было, точно и вправду нечистая сила всех с корабля забрала, не испугавшись, видать, креста хоть и красного,

¹¹ Галеон – многопалубное парусное судно с 3–4 мачтами и пушечным вооружением. Галеоны были малые, средние и большие, сильно отличаясь по размеру (малые – с водоизмещением от 100 тонн, большие – до 1200 тонн).

но христианского. Ну, мореходы баграми кораблик подцепили. Он был хоть и дивной для нас конструкции, но размеру небольшого...

– Да-да, – торопливо вставил Роквель. – Это так называемый малый галеон...

– Канатами с ладьей связали да и протащили потом вверх по Днепру. Такую диковину грех было не показать своим... Не знаю, так ли: уж больно много, значит, с ним повозиться пришлось.

– Друг мой, – чуть ословевший (не то от крепкого фламандского пива, не то от таких известий) Артур старался говорить подчеркнуто небрежно. – А вы не видели, что написано у него на корме, под символом? Как сей корабль назывался?

Григорий присвистнул.

– Да как же могла за столько лет надпись-то уцелеть? Даже крест тот почти стерся. Но несколько букв сохранились. Я, уже когда выучился читать латинский шрифт, специально смотрел. Ну, в начале слово «Santa» было, остались «s», «t» и «a». Легко угадать – это слово тут на каждом втором корабле. А дальше... Начиналось второе слово на «А». И все... А в чем дело-то, из-за чего столько треволнений, сэр Артур?

Григорий тоже теперь произносил слова с подчеркнутой небрежностью – но не потому, что что-то скрывал, а просто в тон Роквелю. Работа переводчика приучила его всегда подлаживаться под собеседника. Работа такая.

Мистер Роквель опять взял свою кружку и уткнул в нее нос – наверное, не хотел, чтобы Григорий видел его лицо. Потом приглушенно прошептал:

– Мой дорогой друг... знали бы вы, новость какой важности вы мне только что сообщили!.. К сожалению, это не моя тайна, я не имею права рассказать вам... Смоленск, кто бы мог подумать... Такое имя – Франциск Бэйкон – вам что-нибудь говорит?

Григорий покачал головой. И почему-то вспомнил давний разговор с отцом, его недоумки насчет того, что не только огромные запасы пороха хранятся в крепости Ключ-Города... Вспомнил – и вдруг каким-то верхним чутьем ощутил: Смоленск скрывает в себе тайну... И уж не ту ли самую, что «чуял» думный дяк Посольского приказа?.. Но Артур вновь надел на лицо всегдашнюю улыбку, став внешне совершенно беззаботным, и к этой теме более в тот вечер не возвращался. Как, к разочарованию Колдырева, и к теме путешествия в Венецию.

С тех пор как он рассказал мистеру Роквелю о днепровском корабле, поведение англичанина резко изменилось. Следующий день он вообще не выходил из своей комнаты, бесконечно писал письма и просил Григория отправлять их в разные города, а на осторожные вопросы по поводу поездки в Венецию лишь нетерпеливо отмахивался. Григория так и подмывало заглянуть в эти письма, но он не решался: дяк в Москве подобных указаний ему не давал.

А потом мистер Роквель и вовсе заявил, что планы его неожиданно поменялись и он должен срочно вернуться в Англию по безотлагательному делу. Григорий Колдырев может со спокойной душой ехать в Москву, их совместное путешествие окончено.

– Буду вам благодарен, – добавил Роквель между делом, – если, возвратясь в Москву, вы отыщете там одного моего давнего приятеля. Он живет в небольшой слободке, рядом с городом, там в основном иностранцы селятся, кто зачем-либо приезжает в Московию.

– Кукуй.

– Да-да... Я хочу написать ему письмо, и, если вы это письмо передадите, буду вам безмерно благодарен. Безмерно.

– Передам, чего ж в том сложного, – пожал плечами Григорий.

Отъезд он назначил на следующее утро. А остаток дня провел на канале, пройдя вдоль него почти до моря: в этой плоской местности его синева угадывалась издалека. Некогда оживленная дорога к морю была совершенно пустынна. Между камнями, по которым некогда весело

звякали подковы, всюду росла трава, а кое-где поднимались и вполне оформившиеся деревца. Здесь, в сердце Европы, за несколько часов он не встретил ни одного человека.

Возвращался он тоже вдоль канала, заросшего тростниками и камышом, с редкими просветами чистой воды. Вот откуда бесконечные жирные караси, которыми все потчует их трактирщик...

Уже в самом Брюгге, проходя в сумерках мимо красивых каменных домов с забитыми досками окнами, мимо пустых дверных проемов, из которых тянуло могильной сыростью, Григорий Колдырев вдруг понял, как же его тянет назад, в вечно оживленную, шумную Москву. То, о чем он запрещал себе думать все эти месяцы, то, что постоянно забивалось новыми впечатлениями, прорвалось и закрутило его, как водоворотом.

Домой! Домой!

Почему-то совсем не к месту вспомнилось ему, как воскресным днем в Париже его увлекла с собой возбужденная толпа. Он и не пытался разобраться, куда спешат все эти радостно взволнованные, приодевшиеся по случаю праздника люди – мужчины, женщины, дети, – просто, поддавшись общему порыву, последовал с ними. И оказался на Гревской площади, посреди которой стоял помост, а на нем – несколько добротных виселиц. Детей и женщин обычно несговорчивые парижане охотно пропускали поближе к ней, в первые ряды.

На помост вывели молодого человека, судя по платью, аристократа. «Убийца Расти-ньяк!» – выдохнула площадь. И замерла в ожидании. Григорий смутился и начал потихоньку выбираться из толпы. Но когда площадь возмущенно загудела, обернулся. Несчастный болтался в петле, которая, видно, не затянулась до конца. Его лицо было передернуто судорогами и покрыто багровыми пятнами, глаза почти вывалились из орбит. Руки были стянуты за спиной, но он отчаянно дергал ногами. Из коротких штанин, чуть прикрывавших колени, по ногам стекала зловонная смесь мочи и жидкого кала. Григория стошнило. В этот момент палач уцепился за перекладину и надавил ногами на связанные руки осужденного, прервав его конвульсии.

– Мерзавец, – заметил побледневшему Григорию прилично одетый горожанин. – Ускорил смерть, не дал насладиться. И вообще, повешение – это скучно. То ли было в прошлое воскресенье, когда казнили сумасшедшего, покушавшегося на самого короля. Его колесовали, представляете? Палач перебил прутами руки, ноги и грудину, а потом его положили на тележное колесо и подняли вверх, лицом к небу. Так он умирал, а переломанные руки-ноги свисали вниз!

Вечером того же дня Григорий обнаружил на штанах – он их подвязывал шнурками к камзолу, как давно мечтал, – какие-то дырочки, словно прожженные. Их увидел и обычно погруженный в свои мысли сэръ Роквель и словно обрадовался:

– И вас, мой друг, не миновала чаша сия! Поздравляю, теперь мы с вами настоящие парижане. Только парижская грязь обладает таким уникальным свойством: попадая на материю, проедать в ней дырки.

Нет, домой! Домой!

Какое же счастье, что там, на закрытом тучами востоке, у него есть свой дом.

Москва. Кремль (1596–1608)

Ах, улицы московские! До чего ж вы широки! В два, а то и в три раза шире, чем в европейских столицах. В морозный день по плоским деревянным плахам – звонко так, цок-цок-цок – стучат высокие каблучки московских красавиц. Саму девицу-красавицу и не видно под шубой да платками, пар изо рта закрывает румянец щек, о каблучках можно только догадываться под длинной одеждой... Но их слышно – и от фантазий не удержаться!

Отрочество и юность Григория пролетели в Белокаменной, и московские приятели – а их у легкого характером и не жадного до денег Колдырева имелось множество – все как один с некоторой завистью считали его баловнем судьбы.

Еще задолго до того, как уйти на покой, думая о будущем своего Гришки, Колдырев-старший отправил его в Москву. Годунов затевал на Руси новые преобразования, в его правление вновь стали нужны люди грамотные, и второй смоленский воевода Дмитрий Станиславович Колдырев решил, что сына нужно сызмальства готовить к государственной службе.

Григорию только-только сравнялось двенадцать, как он был отдан на обучение в школу при Посольском приказе. Приказ – это московитское ведомство иностранных дел – имел свое собственное учебное заведение, проявившееся как раз при Годунове. А сам Посольский приказ был создан еще при отце Грозного – Василии Третьем, чтоб иностранных послов, приезжающих в Московию, встречать еще на границе и сопровождать прямиком до государевых палат. Чтоб такого никогда не случилось: коли не знаешь языка, так тебя никуда и не допустят. Да чтоб «немчурой безгубой» важного иностранного гостя часом не обозвали, будь он хоть шведом, хоть греком. Разве что поляков именовали у нас иначе: «ляхами» – ну, да их язык почти что русский, только шипу много.

Служба посольского толмача, переводчика с разных иноземных языков, особенно почетною в Приказе не почиталась. Но именно в изучении языков Григорий обнаружил большие способности и немалое усердие. С помощью нескольких иноземцев, на ту пору живших в Москве на Кукуе, он быстро стал понимать польский и французский, выучил шведский, а потом и английский.

Но лучше всего Гришке давался немецкий. Язык ему нравился: речь четкая, все сразу на свои места ставит. Даже сама фраза строится так, что смысл никак не переиначишь. Немецкий толмач, прибывший в Москву с какими-то торговцами, заметил Григорию:

– Среди немцев очень много любителей пофилософствовать. И немецкая философия в мире, поверь мне, еще станет известнее, чем греческая или римская. Потому что с таким логичным языком нельзя не стать нацией философов.

Нравились Колдыреву-младшему и сами немцы. Они, как правило, говорили то, что думали. Не строили козни после улыбчивых речей, как поляки, не рассыпались в любезностях, чтобы потом начать скупердяйничать, как французы, не принимали надменный вид, будто каждый морской капитан у них что наш Рюрикович, как англичане. И нередко проявляли, быть может, излишнюю чувствительность, особенно пропустив пару стаканчиков, – что неуловимо роднило их с русскими. Кроме того, немцы были всегда точны, трудолюбивы и в работе изобретательны, а это Гришка с детства ценил пуще всего – сам стремился, глядя на них, быть таковым. Хотя получалось, признаться, не всегда...

Три года обучения при Посольском приказе показались мальчику сказкой: все было интересно, все увлекало. Аккуратному и прилежному парню поручали переписывать документы, доставлять письма. А позже – и того интереснее: Гришка стал сопровождать дьяков Приказа на встречи с важными иноземными гостями, ему и самому доверяли даже править грамоты. При том посольские не обижались, когда он осторожно, со всем почтением указывал подьячим на ошибки в переводе, да, бывало, разъяснял кое-какие иноземные обороты.

А в пятнадцать лет он, как и положено дворянину, поступил на службу при дворе¹² и стал по званию стряпчим. С любимым Приказом пришлось расстаться, но, как выяснилось, ненадолго.

В этом звании в пятнадцать лет начинал службу отпрыск знатного рода. Это не значило, что ему приходилось что-то там стряпать на кухне. Стряпчие – не кухарки. «Стряпать» означало «делать», стряпчий – работник. Стряпчие подавали царю одежду, несли охрану, выполняли обязанности придворных и всякие поручения.

Самых достойных из них затем производили в стольники. На всю бескрайнюю страну стольников было около двухсот. Стольники – потому что по традиции прислуживали при царском столе во время посольских и прочих парадных приемов. Однако для них это была как бы почетная общественная нагрузка. Ибо во всякое иное время они выполняли военные, дипломатические и административные дела.

Выше шли окольничие – ими становились лучшие из стольников. Окольничие – потому, что уже совсем *около* государя, представляют его ближайшую свиту. Они уже обычно входили в состав Боярской думы и могли присутствовать на ее собраниях с правом совещательного или даже решающего голоса.

Бояре – высшая ступенька служебной карьеры при дворе. Представители самых знатных семей и близкие царю люди имели право стать боярами, минуя эту лестницу и даже минуя чин окольничего. Но это было только *право*, чаще – все равно они должны были до боярства дослужиться – только происходило это куда быстрее¹³.

Кроме бояр и окольничих, в состав Думы входили еще думные дворяне и думные дьяки (эти могли быть и из простолюдин) – но эти чины достигались только персональными заслугами¹⁴.

Итак, скоро выяснилось, что юного стряпчего постоянно запрашивает для поручений его родной Посольский приказ. В этом не было ничего необычного: придворных дворян постоянно придавали приказам по их запросу. Под свое крыло в островерхом тереме за кремлевской стеной Григория взяли два посольских подьячих. Сами они были расторопными людьми лет двадцати восьми, когда-то начинали в толмачах, но знали лишь по одному ином языку, не считая, конечно, ляхского и латыни. Так что юного Гришку они ценили – старайся парень, держись за нас, как в дьяки выбьемся, коли счастье будет, не забудем. Спайка крепкая у нас получится – помогать будем друг другу, ты – нам, мы – тебе. Ведь сам знаешь, то, что твой отец в воеводах ходил, тебе никаких гарантий по службе не дает.

Боярин – это тебе, парень, не наследственный титул, как какой-то английский милорд. Это парень тебе чин – его еще на службе царской заслужить надо. Отец твой, вишь, по воинской службе долго шел, потому и воеводой вторым стал. Притом не в последнем городе. Но все ж – в бояре не вышел. Зато нынче служба в приказе нашем наипервейшем не менее важна, чем воинская. Растет Россия-матушка – и заграничных дел у нее с каждым годом все более будет. Не только саблей махать, но и торговать, и «договариваться» – все важно будет, все уметь надо. Государь наш Борис Федорович премудр зело, посольских ценит, иных – даж за границу учиться отправляет... Так что, держись Приказа, Гришка, – дослужишься, Бог даст, до самой Боярской думы, вместе с государем она Россией правит – ибо умнейшие мужи в ней сидят. А что, как нынче говорят? «Царь говорил, а Дума – приговорила». То-то!

¹² В XVI веке служба делилась на дворцовую и правительственную. При дворе служила только знать, в приказах – образованные люди.

¹³ Даже царскому родственнику, знаменитому в будущем полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому предстояло получить боярство лишь после ряда военных побед.

¹⁴ Позднее, при Алексее Михайловиче Романове, в состав Думы входило 29 бояр (пять из них – произведенные, т. е. не наследные), 24 окольничих, 6 думных дворян и 4 думных дьяка. Таков был состав высшего законодательно-совещательного органа.

Это латиняне римские, тьфу, язычники, в древнейшие времена кривлялись – у них, мол, правит «Сенатус и народ Риму». Кто ж тому поверит, чтобы мужицкий народ к правлению государством допустили? Что ж от того государства останется? Ты Гишторию читал – сам знаешь, правили у них на деле Кесари, а бывало – два кесаря сразу – консулы звались. А для народу что? Одно то кривлянье и обман прямой был. А так как Кесарь али Кесари – были вроде как всем равные, то бишь «первые среди равных», что выходило? А выходило, что чуть ли не каждый сенатус, а то и простой ратник, собрав войско поболе, мог Кесарем по обычаю запросто стать. Так и повелось там сплошное непрерывное царевубийство – от презрения к власти да жадности. А народу от той сумятицы – повсеместное разорение.

У нас же все по-честному выходит: правит царь, ибо власть его – от Бога и подвергаться сумлению не должна никем и никогда. А коли есть нынче какие непорядки – так только от бездетности покойного Федора Иоанновича – сына Грозного. Прямая линия пресеклась – пришлось Собор созывать, вот, слава Богу, Бориса Федоровича Годунова – справедливо – и по знатности, и по родству к царской фамилии, и по мудрости его великой – государем избрали. Даст Бог – устоится династия, и вернется покой на Русскую землю еще на тысячу лет. Но, знаешь сам, одна голова хорошо, а тридцать лучше – потому в совет государю у нас есть тридцать умнейших голов боярских, из коих до половины – такие, как ты да мы, – службой всего добились, а не по родству. А коли важнейшее государственное дело – скажем, война, или подати новые большие, или, не приведи Господь – как было, пресеклась царская линия по прямой, то такие вопросы – уже всей Землей решать надобно. Тогда, как Иоанн Васильевич завещал, и собирается Земский собор. Туда и от бояр, и от дворян, и от Церкви, и от посадских, и от казаков, и, конечно, от мужиков – все выборные едут и едиными усты те вопросы решать должны.

– Постойте, так это же и будет тот самый популюс – народ то бишь, который, как в книгах пишут, вместе с сенатусом у латинян в Древние века и правил? – вопрошал Григорий.

– Не популюс, не народ-с, – смеялись подьячие, – не народ то будет, а – лучшие люди народа, разницу чуешь?

Впрочем, до таких философских бесед в Приказе доходило редко, ибо служило там всего-то раз-два – может, от силы человек двадцать пять на всю Москву, так что времени на ученые разглагольствования как-то оставалось мало.

Жил Гриша все эти годы в доме деда, Афанасия Матвеевича Грязнова. Добрый старик обожал и баловал внука: единственный сын Грязновых давно сложил голову, еще в памятный налет на Москву поганца Гирея, детей от него не осталось, так что Григорий был для дедушки с бабушкой светом в окошке.

При этом Афанасий Матвеевич твердо почитал, что мальчика полагается растить настоящим мужчиной, и даже если не пойдет в воинскую службу, он должен уметь воевать. Стрельбе он обучал Гришу сам, но фехтовать старику было уже не по силам, и он не жалел денег для найма лучших в Москве учителей. Сначала был учитель наш – из отставных стрельцов. Но бердыш Гришка и поднять толком не мог, а в саблях стрелец сам был не силен. Потому для обучения сабельной рубке наняли настоящего мадьяра. Слава о мадьярских сабельщиках, что на коне, сказывали, легко одолеют и польского гусара, и татарина, а в пешем сабельном бою – так для холодного оружия вовсе практически неуязвимы – гуляла тогда по Белокаменной вовсю.

Афанасий Матвейич за всеми воинскими новинками следил самым внимательным образом, ибо полагал учебу внука в Приказе делом временным и несолидным, а решительную войну с ляхами – делом верным. Потому, говаривал он, «хочешь жить – умей рубиться!» – и давал Грише по два часа рубки ежедневно, окромя, конечно, воскресенья и праздников.

Мадьяр тот был наемным – служил в охране Кремля у капитана Маржерета. Но и он прозанимался недолго – сослался на занятость в караулах, а главное – на полное отсутствие

какого-то прогресса у своего ученика. Уже от отчаяния пожаловались самому Маржерету – и тот порекомендовал своего соплеменника, французского странствующего фехтовальщика, оказавшегося в Москве по случаю лет десять назад да так тут и оставшегося по причине крайней дешевизны еды и жилья да высокого заработка. «Пересчитать в золоте, месье, – со смехом говорил он Гришке, – так ваш дед только за ваши уроки мне платит не менее, чем жалованье королевского гвардейца в Париже».

«А что такое гвардеец... – закатывал француз глаза. – О! мечта дворянина! Никакой войны – и какие дамы при дворе, какие дамы!.. Но ты поди еще попади в мушкетную охрану короля. Тут тебе ни дворянство, ни воинское умение, ни рекомендательные письма – ничто не поможет. Только случай, или фавор, как мы говорим... Вы, москвиты, не знаете цены деньгам, и потому не умеете долго и усердно работать над собой, – все вам слишком легко дается». Француз учил его бою на рапирах, шпагах и саблях методично и дольше всех, и надо признать – французскому языку в процессе обучил весьма прилично... Но все эти кварталы, терции, полукруги... Выпады, парады, двойные финты... Полувольты, перехваты, уходы в сторону...

«М-да... Будем откровенны – ваше оружие, месье, язык, а не шпага, – сделал француз как-то после очередного урока, который по правилам завершался «схваткой» ученика и учителя, неутешительный вывод. – Как фехтовальщик вы, сударь... деревяшка».

Так что воинскими талантами юный Григорий, увы, не блистал совершенно. Несколько лет чуть не ежедневных дорогих уроков – и Афанасий Матвеевич махнул рукой: за себя на темной улице за воротами отрок постоять, бог даст, сумеет, и ладно, а принуждать племянника к занятию, к которому нет склонности, – дело пустое и даже вредное. Поэтому Григорий оружие-то при себе носил, ибо того и фамилия, и должность требовали, но воином не был и себя, откровенно, таковым в душе не считал... Потому и выбрал себе отнюдь не положенную в обычае молодому дворянину изогнутую саблю, а шпагу – немецкой работы. Французы сами, к слову, своих шпаг, почитай, и не делали, оружейное дело у них было поставлено отменно плохо, сами для себя предпочитали покупать клинки германские и голландские, а кто побогаче да поразбористее – то гишпанские, из Толедо.

Шпагу Григорий выбрал себе короткую, чтобы на поясе, даже будучи поставлена вдоль ноги, не касалась земли. Но яркую, начищенную, с позолоченной «ослиной подковой»... «Парадный палашец», как обозвал его дед Афанасий, был притом сделан весьма отменно, с добротной закалкой и отличной развесовкой, так что для ближнего, не дуэльного боя подходил как нельзя более... И стоил месячного жалованья Колдырева.

Но, откровенно говоря, боевые качества клинка юного Гришку волновали мало. На войну он не собирался, а что до дуэльных поединков, о коих Григорий был в деталях наслышан от заморских послов, так тут вам царская Москва, а не рыцарская Европа. За одну лишь попытку дуэли по положению Иоанна Васильевича на Руси полагалось обоим участников казнить, а свидетелей и помощников («секундов» на европейский манер), а также всех «ведавших о злом поединочном умысле, но не донесших» – сечь кнутами, лишать имения и подвергать ссылке.

Дворянство – оно на то тебе дворянство и дано: пока тебя мужик в жалованном тебе государем на время службы наделе али поместье кормит, пока спину гнет, ты мог себя всего службе государевой посвятить. Редко когда – при дворе или в приказе, а то обычно – на войне. Там и голову сложишь за царя, коли помереть тебе нейдется, зато с честью и пользой. А просто так друг в друга саблей тыкать, из гонора али из обиды, как во Франциях каких, – забудь навсегда. Ибо ты – дворянин служилый, и жизнь твоя не тебе принадлежит, а государю. И не волен ты ею распорядиться произвольно, тем паче по дури какой лишать жизни другого честного человека. Такова была простая логика царского повеления, и, надо признать, Григорий почитал ее обидной и прямо-таки попирающей его гордость. Но указ – есть указ, и посему дуэлей в Москве как-то особо не водилось. Так что длинная и тяжелая дуэльная шпага была Колдыреву совершенно ни к чему. «Парадка» – вот в самый раз. И вообще, не привычная

стрелецкая сабля, а именно шпага, это казалось ему как-то более, что ли, по-европейски. А на вопросы приятелей отвечал, что она просто весом легче – таскать за собой в Приказ удобнее.

Иногда Гриша навещался к отцу, однако в сам Смоленск обычно даже не заезжал: там Дмитрий Станиславович бывал вечно занят на строительстве крепости, толком и не поговоришь. Зато в редкие дни наездов в деревню воевода отдыхал. Он заранее писал сыну, что собирается выгадать вольную недельку, и называл время, чтобы Григорий выпросился со службы. Сын с отцом разъезжали верхом по округе, охотились, удили рыбу в Днепре, а вечерами подолгу разговаривали, попивая квасок, который лучше всех в деревне готовила колдыревская стряпуха, веснушчатая толстушка с потешным именем Петушка. Выговаривать полностью ее настоящее имя – Перпетуя – отставной воевода считал излишней роскошью.

Воевода с упоением рассказывал сыну о временах своей молодости, о великом государе Иоанне Васильевиче, о своем бесстрашном друге Малюте. И в воображении юноши возникали былые грозные и волнующие события, а вместе с ними являлась и зависть: надо же, сколько невероятных приключений было в судьбе отца, в какое великое время он жил!

– Даст Господь, будет еще Русь-матушка сильной державой! – твердил Дмитрий Станиславович. – Не сожрут ее ни ляхи, ни крымские нехристи, ни прочая нечисть. Верю, будет еще кому продолжать славные дела Иоанна Васильевича.

– Так разве царь Борис не славно их продолжает? – удивлялся Гришка.

Отец в ответ лишь пожимал плечами.

– Как тебе сказать... Хороший он государь, умный... но вот воли твердой в нем не чаю. Знаешь, закалки такой, чтоб душа как сабля хорошая была – пополам согнешь, а не поломаешь. А еще, мне кажется, случись что: смута какая-то – так не хватит у государя решимости выжечь эту скверну каленым железом.

– Но не опричнину же вновь заводить? – таращил глаза Гришка. Живя в Москве, он уж наслушался страшных баек про свирепость опричников.

– Скверна – она скверна и есть. Ее мягкой рукой не изничтожишь... А вот то, что государь наш Смоленскую крепость строит, наружу смотрит, на расширение страны, а не на замыкание ее внутри себя – это дело. Это правильно и полезно.

Григорий удивленно поднял брови: при чем тут крепость – и расширение? И отец спросил с хитринкой:

– Как еще Смоленск называют, ведаешь?

– Ключ-город, – моментально вспомнил Колдырев-сын.

– Правильно. А почему так?

– Ну... Запирает потому что на ключ Россию от вторжения извне, охраняет...

– А вот и нет, – довольно рассмеялся отец. – Не закрывает, Гриша, а наоборот: открывает Россию наружу. Для дальнейшего собирания земель русских воедино, и в Малой России, и в Белой, и в Красной... Потому и строится крепость эта, нужна она нам, Григорий, самая большая, самая сильная и неприступная, с самым большим запасом пороха – и даже с...

Тут Колдырев-старший запнулся и смущенно умолк, потянулся к бокалу с рябиновкой.

– С чем, с чем? – удивленно наклонился вперед Григорий.

– Мал еще знать, – беззлобно отрезал отец. – Чином пока не вышел ведать такое.

Эх, расспросить бы Григорию подробнее, настоять на своем, выпытать, о чем умалчивает отец, – глядишь, и все события этого повествования потекли бы совсем по иному руслу... Но, увы, юный Колдырев-младший в тот вечер ничего выпытывать не стал.

Как бы то ни было, эти разговоры очень занимали обоих. А когда Гришка принимался расспрашивать старика о своей матери, на глазах сурового воеводы неизменно появлялись слезы, он начинал было что-то вспоминать, но тут же и умолкал, отворачиваясь.

– Стар я стал, Гриша. Плохо помню. Порасспроси про Милушу Афанасьевну, вон, Петушку, она с малолетства при доме, все помнит...

...Так протекала юность Григория Колдырева, и, наверное, друзья имели право считать его счастливым – ему давалось все, к чему он стремился.

Григорий выпросил, чтоб жалование ему давали не четвертями земли, а живыми деньгами. Пешком он уж теперь не ходил – не с руки, тем паче колдыревский красавец аргамак, даренный отцом по случаю поступления на службу, повсюду вызывал восхищенные взгляды. Но если надо куда по Москве, можно взять и возницу: их до сотни, бывало, ждали ездовых у кремлевских стен. Одет всегда был по-последнему, по-щегоольски – кафтан всегда из бархата, сапоги из лучшего сафьяна, шапки только собольи. Когда служил отец, главным модником в Москве почитался молодой боярин их знатнейшей семьи – Федор Романов. Этот был парень наивиднейший, в кругу друзей первый щеголь и гуляка, среди первых на кулачных боях на Масленицу или же – на верховых скачках, что проводили часто зимой на замерзшей Москвереке. При Годунове Романовы попали в опалу, и Федор был пострижен в монахи под именем Филарета. Но с тех пор, по его примеру, щегольство в одежке стало по Москве для знатной и небедной служилой молодежи делом, считай, всеобщим. Григорий тож фасон держал, хоть и мечталось ему одеваться вовсе не так, как все: работая с иностранцами, юноша всегда восхищался их платьем. Костюмы иностранцев, не домашние, конечно, а те, что принято носить «при дворе», казались ему чрезвычайно удобными и легкими. Особенно Григория почему-то восхищало то, что к застегнутому на множество пуговиц камзолу штаны привязывались на шнурках – имелись специальные отверстия. «Что бы и нам такое не ввести?» – с завистью думал Григорий. И старался заказывать себе у портных кафтаны покороче, а у скорняка зимние шапки как можно ниже. То, что зимой из-за короткого платья мороз кусал в самые такие неприятные места, его по молодости как-то не смущало... Когда, лет около восемнадцати, на его щеках стала пробиваться борода, Гришка принялся ее вдруг брить, впервые вызвав искреннее возмущение деда.

– Ты что же, как баба, с голым лицом ходить будешь?! – вознегодовал Афанасий Матвеевич.

– А что, те, с кем я работаю, бабы, что ли? – не смутился в ответ Гришка. – Мужики истинные, вот вам крест, дедушка! Однако же бороды бреют.

Может, в старые времена за вольности, что позволял себе Гриша, был бы он по-отечески порот, но при благоволившем иностранцам Борису выглядело это так, будто он пытается угадать волю царя.

Иноземцев становилось все больше. Григорий работал с наезжавшими в Москву посольствами, но видел, что тянутся к нам и мастера, и служилые люди, и купцы. Кто привлечен был на Святую Русь освобождением от податей, а кто, зачастую, – и от всяких торговых пошлин.

Многих из них влекло, как Артура Роквелля, русское мягкое золото. Меха довольно привозили и в столицу, но в Москве, как водится, было много дороже, поэтому опытные купцы не ленились и либо отправлялись на север, к Вологде, к Холмогорам, либо снаряжали караваны на Волгу...

А царя Бориса, и вместе с ним все его царство, преследовали беды: что ни год, то неурожай. Или солнцем поля пожжет, или дождями зальет, или морозом выбьет. «Поби мраз сильный всяк труд дел человеческих в полах» – так оно было. Давно ли, венчаясь на царство, Борис самого Бога звал в свидетели, что при нем никто не будет беден или нищ? «Сию последнюю разделю со всеми!» – обещал он в этот торжественный момент, тряся себя за ворот сорочки.

Начался голод. Царь, верный своему слову, открыл житницы. На третий голодный год, страшный шестсот третий, в Москве царскую милостыню получали уже десятки тысяч человек... Голодающие тянулись в столицу. Но и тут царское благодеяние горем отозвалось: по дороге перемерли тысячи человек, заполонив разлагающимися трупами дороги, в Москве же

враз начались мор и всеобщая паника. Как-то загадочно царю Борису не везло решительно ни в чем...

А тут новая напасть – разбойники. Господа распускали холопов, не в силах их прокормить, а те, ни к какому делу не способные, отправлялись прямиком в леса. Чудом не взял саму Москву главный разбойничий атаман Хлопка Косолап – у него уж из холопов, беглых крестьян да казаков составила настоящая армия.

И народ решил, что все это по вине Бориса. Иные почти открыто говорили, будто он повинен в гибели младого царевича Дмитрия, сына Грозного.

Народ ставил в вину Борису и отмену Юрьева дня¹⁵.

На третий неурожайный год вызрело страшное семя смуты. В Речи Посполитой объявился некто, назвавшийся ни много ни мало чудесно спасшимся царевичем Дмитрием.

Колдырев-страший был уж в ту пору не у дел и в сердцах сказал сыну, когда тот в очередной раз наведлся к нему в деревню:

– Ах, никуда я уж не гожусь, Григорий! А было б мне ну хоть годков на десять поменьше, так пошел бы я вновь воевать! Такое творится на Руси! А я тут как пенёк в землю врос...

– А может, мне пойти в войско царское, батюшка? – спросил Гришка. – Рубиться, слава Богу, меня обучили, стрелять тоже умею. Чем с иноземцами возиться, пойду да послужу Отечеству.

По первой Колдырев-старший пылким словам сына обрадовался, но, подумав, покачал головой:

– Нет, Гриша. Нужнее ты Отечеству на своем месте. И без тебя отобьется Борис от самозванца – не велика та птица. Вон царские воеводы Мстиславский и Шеин уж раз под Добрыничами разбили тезку твоего злополучного. И это, поверь, лишь начало! Сами еще на Польшу двинем! Будешь когда-нибудь плененного польского короля допрашивать!

Однако стали происходить события и вправду страшные, все в царстве Московском пошло, не как предсказывал бывший второй смоленский воевода... Царь Борис неожиданно умер весною шестсот пятого года, в самый разгар войны против войск самозванца. Престол перешел к его сыну, юному Федору. Тут Русь словно помешалась. Города сдавались самозванцу без боя, народ встречал его с восторгом. Спустя всего полтора месяца в Москве заговорщики-сторонники «царевича Дмитрия» убили царя Федора.

Самозванец въехал в столицу.

Улицы запрудил взбудораженный народ, все хотели видеть «государя Дмитрия Иоанновича», многие шумно выражали свое ликование, иные, которых было куда меньше, подавленно молчали и прятали глаза. Объявился какой-то юродивый, который кричал, что за подлое убийство невинных царя Федора и его матери город будет проклят и поглотит его геенна огненная. Люди шарахались от безумца, но тронуть его не смели. Казалось, что все москвичи были словно пьяны, все кричали, ликовали, плясали, но никто не слушал друг друга, словно не понимали обращенных к ним слов...

Какое-то время Посольский приказ почти не работал, и Григорий вновь поехал к отцу.

В Суцее, вотчине отца, Григорий сблизился с отроком Александром. А правильнее будет сказать – с Санькой, Сашкой, поскольку был тот простым дворовым мальчишкой, сиротой, неизвестного роду и племени. Страшной зимой третьего года подобрал его Дмитрий Станиславович где-то на Смоленской дороге. Чем Александр – из прошлой жизни малыш помнил только свое имя – пришелся по душе Колдыреву-старшему? Не то бездонной синевой любопытных и бесхитростных глаз, не то недетскими смекалистостью и соображением... не то про-

¹⁵ *Юрьев день* – праздник в честь святого Георгия 26 ноября ст. ст., когда разрешался крестьянский выход, т. е. переход крестьян-арендаторов от одного помещика к другому. Отмена этого обычая осуществлялась постепенно в конце XVI века. Что же касается роли Годунова, то указами 1601–1602 годов он, напротив, временно восстановил переход для некоторых категорий крестьян.

сто-напросто мечтал старик о внуках, кои у его товарищей давным-давно народились. Приблизил он к себе мальчонку, учил сорванца уму-разуму и внимания не обращал на осудительные взгляды соседов: мол, как же это так, позволить дворовому несмышленищу разгуливать по барскому дому, трогать вещи барина¹⁶ да еще и разговаривать с ним как с родным?

В прежние нечастые приезды Григория Санька был еще слишком мал, но теперь он тоже нашел мальчика славным и даже в шутку предложил тому подружиться, хотя какая уж дружба – одному десяти нет, а другому за двадцать? Но Саня в ответ поглядел на московского гостя синими, как Днепр поутру, глазами и сказал:

– Коли не шутишь, так я тебе до гроба другом буду!

И они, Григорий и Санька, первый шутливо, второй очень серьезно, пожали друг другу руки.

Гришу вскоре спешно вызвали назад, в Приказ: увидав на троне своего человека, в Москву толпами хлынули поляки и многие другие иноземцы. Работы стало невпроворот.

А спустя без малого год «царь Дмитрий» осточертел московским боярам да дворянству и своей преданностью ляхам, коим доставались лучшие должности и поместья в обход русских служилых, и своей необъяснимой нелюбовью к русской бане и еще более странной одержимостью к «польской ведьме». Так прозвали его невесту, а потом и супругу – красавицу Марину, отцу коей, магнату Мнишеку, новый царь даже пообещал передать Смоленск и окрестности.

И еще две странности погубили Дмитрия. Не могли москвичи понять его пристрастия к телятине, которая на Руси в те времена почему-то почиталась за нечистую пищу. И совсем уж ненормальным казалось то, что царь после обеда не спит! Послеобеденный сон был для русских не блажью, не данью их мифической лени, а простой необходимостью. Вставали на работу рано, до света, а ложились только после поздних церковных служб. И если после обеда человек, будь он хоть царь, не вздремнул, значит, или на службу в церковь не ходил, или на работу с первыми лучами – не вставал! Что ж это за царь выходит? Ненастоящий!

Не юн уж и даже не молод был князь Василий Шуйский, а был он в полной мужской силе, когда под колокольный набат въезжал через Спасские ворота в Кремль с крестом в одной руке и саблей – в другой, чтобы свергнуть самозванца. В серебряной рукояти его сабли кроваво горел крупный рубин. А за предводителем переворота бежали стрельцы и даже некоторые бояре – кто посмелее. Да, доживавший свои последние минуты царь-самозванец был накануне умело лишен маржеретовской охраны, да, во многом Шуйский красовался со своей саблей перед толпой, да, выкликнули после его в цари безо всякого ряда – но такой героический случай в его жизни был. И самозванца сверг именно он. И правил он как мог страну – в страшное время Смуты не месяц и не два, и даже не год, а полные четыре года.

Тем временем, вскоре после бесславной гибели «царя Дмитрия Иоанновича», объявился новый самозванец, а потом и третий, и пятый, и даже десятый, хоть никто уже толком не считал. Кого вновь поддерживали ляхи, кого – мятежные южные города, иных – казаки, а других – попросту шайки лесные. После того как труп первого Лжедмитрия спалили, а пеплом из пушки выстрелили в сторону Польши, уж смешно, казалось, верить в сказку о воскресшем царевице. Впрочем, никто уже особо и не верил – в большинстве своем бунтовщики просто пользовались случаем пограбить.

Война по всей стране да по многим фронтам разом пошла нешуточная. А когда пришел к Москве с большим сборным войском новый ляхский самозванец да сел лагерем неподалеку от Москвы, прогнать его оказалось просто некому. Табор свой самозванец поставил вокруг

¹⁶ Слова «барин» в начале XVII века еще не было. Крестьяне называли дворянина, у которого арендовали землю, например, «государь-батюшка», или уважительно «боярин» (от чего потом и образовалось «барин»). Но в нашем сегодняшнем языке это именно то слово, которое обозначает хозяина имения.

подмосковного села Тушино, откуда его отряды рыскали по окрестностям в поисках наживы, так что очередного «царевича Дмитрия» острые на язык москвичи тут же окрестили Тушинским вором. Шуйский занял оборону по линии Земляного города – границе Москвы, сам же засел в Кремле.

Кремль был тогда крепостью наипрочнейшей: стены широчайшие – карета проезжала – не пробить ни одному ядру. Притом внешний облицовочный слой кирпича – из специальной мягкой глины, ядро в нем завязает, оставляет ямку, но не крошит. Бойницы для пушечного и ружейного боя – в два, местами – в три яруса. Особые большие пищали были установлены где в нижнем ярусе – подошвенном бою, а где – прямо на кромке стены меж зубцов. Стреляли они не единой пулей, а целой горстью металлических шариков, буквально снося все живое в ширину до двух аршин. При каждой из таких пищалей находились сразу два стрельца – один за зубцом, не высовывая носа, и заряжал и направлял оружие, второй, стоя за соседним зубцом – сквозь щель – корректировал огонь (потому и щель на кремлевских зубцах – через одну). А каковы-то зубцы эти были! Не то, что игрушечные украшения на итальянских палаццо, откуда их и срисовал Марк Фрязин. Зубцы были прочнейшие – разбить их можно было лишь прямым попаданием большого пушечного ядра, так что стрельцы-пищальники стояли за ними неуязвимы для штурмующих. А ежели начинали со стены палить одновременно еще и пушки – артиллерия Кремля почиталась среди лучших в Европе, – до собственно штурма и дойти не могло: приблизиться к стенам не могла ни одна живая душа.

Кремль становился как бы огромным неприступным кораблем, с каждого борта которого в три яруса разили ядрами, пулями и картечью, извергая смерть на сотни сажений. Каждая башня Кремля являла собой самостоятельную крепость, соединенную со стеной лишь непрочными минированными переходами, которые в любой миг могли защитниками башни быть взорваны – и тогда она превращалась в самостоятельную независимую цитадель, со своими запасами пороха и ядер, своими съестными припасами и отдельным источником воды. Каждая башня, даже если бы враг ворвался внутрь Кремля, могла еще держаться неделями до подхода подмоги. Однако, чтобы ворваться в Кремль, нужно было еще преодолеть водную преграду. Крепость находилась на искусственном острове, с одной стороны Москва-река, с другой – Неглинка, а с третьей – вырытый искусственный ров, который в момент опасности – поднимали шлюзы – быстро заполнялся водой. Более того – прямо по внутреннему краю водной преграды – местами на расстоянии лишь в полусотню сажений от главной Кремлевской стены – стояла еще одна стена – пониже, которую тоже держали стрельцы с пищальными. Так что форсировав реку под шквальным огнем, неприятель был вынужден сначала штурмовать малую стену, потом, при благоприятном исходе, преодолев ее, оказывался на вычищенном участке между двумя стенами – малой и большой, где от разительного огня укрыться уже было совершенно негде.

Впрочем, добраться даже до реки и рва суждено было лишь счастливым. Ибо перед ними шла внешняя стена Китай-города, а еще пред нею – Белый город, потом по границе Москвы – так называемый Земляной вал с основными городскими воротами. Эту внешнюю оборону столицы называли земляной, видимо, по старой привычке, ибо на насыпном валу давно уже стояла прочная невысокая стена, охраняемая по всему ее протяжению и городской стражей, и не менее чем двумя стрелецкими полками.

Злые языки говорили, что Шуйский сидит в Кремле как Кошечья смерть – в яйце, яйцо – в шкатулке, шкатулка – в кованом сундуке, ну и так далее. Разница была лишь в том, что каждая внутренняя защитная крепость-матрешка – была в русской столице крепче и надежнее предыдущей – внешней. Так что с момента начала строительства нового Кремля еще при деде Иоанна Грозного Четвертого – Иоанне Грозном Третьем – Кремль никому штурмом взять не удавалось. Открывали ворота сами – перед первым Лжедмитрием. Но штурмовать – с бомбардированием, приступами и осадными лестницами – сумасшедших не было. Это понимал и

Шуйский, сидя в Кремлевских палатах в ожидании подмоги. Это понимали и польские командиры, окружавшие завязшего в Тушине второго Лжедмитрия. Самый простой расчет на победу – не штурм, а полная блокада Москвы и разбитие шедших на подмогу Шуйскому войск. Но на полную блокаду огромного по европейским меркам города¹⁷ у поляков не хватало ни войска, ни умения. И сидение – Тушинского вора в своем лагере, а Шуйского с Боярской думой и гарнизоном в своем – затягивалось...

Началось это противостояние вскоре после того, как весной шестьсот восьмого Григорий уезжал из России, продолжалось оно и теперь – год спустя.

¹⁷ В 1600 году в Москве проживало более 100 тыс. жителей. Городов-стотысячников тогда в Европе было всего 14: Париж, Константинополь, Милан, Венеция, Лондон, Неаполь, Лиссабон, Севилья, Палермо, Амстердам, Рим, Генуя, Антверпен.

Зловещий корабль (Окончание)

В трактир, где они остановились с Роквелем, молодой человек вернулся, когда уже совсем стемнело. Они расположились по-барски – занимали две отдельные комнаты, и в окне англичанина виднелся свет – значит, тот еще не лег. «Ну... Надо бы, наверно, пожелать ему доброй ночи... да и отправиться до света», – подумал Колдырев. И тотчас подивился: обычно Артур бывал в мелочах бережлив и не зажигал больше одной свечи, а тут окно горело ярко.

Станным показалось и то, что дверь комнаты англичанина оказалась приоткрыта. Григорий шагнул на порог... и замер. В комнате топтались пятеро военных. Судя по доспехам, то была городская стража.

– Вы кто такой? – неприязненно спросил, оборачиваясь к вошедшему, коренастый крепыш, очевидно – командир караула.

– Постоялец... – растерянно ответил толмач. – Я приехал сюда с... О господи!

Он увидел, возле чего, точнее, вокруг кого сустились стражники. Тело мистера Роквеля лежало в большой темной луже рядом с кроватью...

– Это – переводчик англичанина, – уточнил хозяин гостиницы, выныривая из-за спины одного из стражников. – Он ушел часа четыре назад.

– Переводчик, ага. А чем вы можете это подтвердить?

Непослушными руками Григорий достал грамоту, врученную ему в Московском приказе, протянул стражнику.

– Кол-де-реф, – прочитал командир. – Русский... Ну что ж... Ваше счастье. Ваше счастье, что хозяин и слуги видели, как вы уходили, и видели, что англичанин в это время был еще жив. – Он цепко глянул в лицо Григорию и неторопливо произнес: – Они же рассказали, что к господину Роквелю пришли после вашего ухода двое каких-то господ и очень скоро от него вышли... Вы не знаете, он ждал кого-то в гости?

– Нет... – Григорий наконец уразумел, что происходит. – Он ни слова не говорил мне, я понятия не имею, кто это мог быть.

– Когда я нашел его, – торопливо встрял хозяин гостиницы, – он был еще жив! Он умер на моих руках, Богом клянусь! Это не я сделал! У меня добрая гостиница, мне трупы тут не нужны!

– Понятно, что не ты, – отмахнулся командир караула. – Бедолагу зарезали, причем весьма профессионально... Один удар в печень, другой в сердце. Да и не кухонным ножом, а кинжалом, очень тонким и очень острым, судя по ране... – Он опять внимательно посмотрел на Григория, и Григорий почувствовал себя в высшей степени неудобно.

– Он умер на моих руках, – не слушая и слыша, повернулся к Колдыреву и хозяин, словно призывая его в свидетели. – И даже успел сказать несколько слов...

– Что он сказал?! – вырвалось у Колдырева. Командир отряда бросил на хозяина гостиницы испепеляющий взгляд, но тот и его не заметил.

– Я не очень хорошо понимаю по-английски.... Но он несколько раз произнес слово «маленький»...

– И что это означает? – Теперь командир не сводил с Колдырева глаз.

– Я почем знаю! – недоуменно развел руками Григорий. – «Маленький»... Да что угодно это может означать!

– У убитого были при себе какие-нибудь ценные вещи?

– Ну... – Григорий замялся, и перед его внутренним взором тотчас встал рисунок корабля, – настолько ценных, чтобы ради них убить человека... насколько мне известно, не было...

– Угу, – недовольно кивнул стражник. – А может, он в последнее время кого-либо опасался?

– И об этом ничего не ведаю...

– Давайте-ка присядем, милостивый государь.

Расспрашивали Григория досконально и чуть ли не с час: о цели их с Артуром путешествия, о городах, в которых они побывали и намеревались побывать, о том, какую сумму путешественники везли с собой – на все вопросы Колдырев отвечал честно, но тут же и выяснилось, что он почти ничего и не знал! Надо же, целые месяцы провели бок о бок, вместе плавали, делили трапезу, а ничего определенного он про покойного сказать не мог. Но если бы потом кто-нибудь спросил у него, почему Григорий ни словом не обмолвился о корабле на днепровском берегу, у него бы не получилось ответить внятно.

Поверили Колдыреву или нет, сказать трудно, однако его неучастие в убийстве Артура Роквеля было столь очевидно, что долее Григория задерживать не стали.

Позднее, обдумав все случившееся, Григорий двадцать раз возблагодарил Господа за то, что решил пройтись напоследок по городу. Окажись он в гостинице, когда явились те загадочные двое, они, вероятно, не пожелали бы оставлять свидетеля... А если б он спасся от убийц, то уж точно не имел бы доказательства своей непричастности к убийству.

На рассвете после бессонной ночи Колдырев поспешно уехал, затолкав в сумку и свиток с письмом Роквеля московскому приятелю. Теперь ему казалось совсем уж непристойным не выполнить просьбу Артура. Получалось, это была последняя воля покойного... А посему, что бы ни содержало послание, даже если суший вздор, передать его необходимо.

Откровенно говоря, на этот раз Григорий не удержался и все ж таки заглянул в незапечатанный свиток – ведь отправителю письма уже все равно, не правда ли? Но, против ожиданий, ничего подозрительного там не обнаружилось, был это простой привет другу, и гласило письмо буквально следующее:

«Сколь редкая и сколь долгожданная возможность отправить Вам весточку! Мой дорогой друг, не беспокойтесь обо мне: кажется, все мои беды и злоключения уже позади. Люди здесь необычайно милы, я не забуду их отзывчивость и добросердечность... Искренне надеюсь, что мое письмо найдет Вас в добром здравии. Всякий раз, вспоминая ваше радушие, я мысленно благодарю Вас за помощь и советы, коими Вы делились со мной. И должен сказать, что Вы были абсолютно правы: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. *Sapienti sat*¹⁸, но, Господи, почему это так трудно – стать мудрым?

Здоровья и счастья Вам, мой драгоценный друг».

Ничего особенного, в общем.

¹⁸ Умному достаточно (*лат.*).

Отдѣль 2

Красное и черное (1609. Сентябрь)

*А Смоленск-то – построеньце
Не Литовское.
А Смоленск-то – построеньце
Московское!*

Из народной быliny

Сокол возвращается. (1609. Сентябрь)

– Дядь Митько, а все ж, ну как он пуляет-то? Ежели у него вместо крючка штучка какая-то, то на чѣ нажимать-то?

– А вот на то и нажимать, на этот шарик. Вещь редкая, работы дивной, так что лучше бы ты, Александр, ее руками не трогал! И так тебе все показываю да обсказываю.

– Ну так покажи ж как пульнуть!

– В доме, что ли?! Совсем ты без ума, парень, даром, что вот-вот двенадцать сравняется...

– А сам ты, дядь Митько, зимой по печке стрелял, помнишь? Две буквы на ней выбивал из пистолей – «М» и другую, нерусскую. Фита по-нашему. Помнишь?

– Господи, помилуй мя грешного... Расшатались скрепы мира сего! Не-ет, расшатались, растряслись! Где ж это видано, чтоб дворовый мальчишка барину противоречил да супротивничал? Да как ты посмел нас равнять, негодник?! Лучше вон глянь, чего это собаки лай подняли. Или к нам кто пожаловал?

Санька не без сожаления положил обратно на стол диковинный пистоль и метнулся к открытому окну. С высоты второго этажа он увидел, как стряпуха Петушка отворяет ворота и в них появляется фигура в длинном сером одеянии.

– Дядя Митько! Это, кажись, к нам батюшка пришел! Новый батюшка, что третьего дня приехал!

Дмитрий Станиславович в свою очередь поспешил глянуть через окно во двор и тут же направился к лестнице.

Его не удивило посещение священника – к кому же идти вновь назначенному настоятелю местного храма, как не к хозяину имения и самой деревни? Но визит был приятный, и Колдырев-старший поспешил принять гостя со всем тщанием.

Село Сущево было невелико – всего дворов за сорок, но жило зажиточно. Можно сказать – богато жило. Хозяйства были большие, дородные и многоземельные, а главные дома располагались в стороне от полей – чередую, по-над невысоким в этом месте берегом Днепра. А еще выше, на холме, среди старой липовой рощи, стоял, не сильно выделяясь размером от крестьянских, и сам господский дом, родовое имение Грязновых, ныне – небогатая вотчина отставного смоленского воеводы.

...Приехал он сюда почти сорок лет назад, спасаясь от государева гнева. И по сей день Дмитрий Станиславович не знал, кто тогда оклеветал его, кто виноват в опале на друга покойного попа Сильвестра.

Отец Григория прожил жизнь бурную, богатую событиями, так что иные даже удивлялись, как это он ухитрился дожить до старости и ныне здравствовать. Смолоду отличился он в

ратном деле. Повоевал и под Астраханью, и в Польше, и в Ливонии, отслужил дале пару лет в далеких Холмогорах, а после уж осел на государевой службе в родной Москве.

Царство Московское росло и укреплялось, вызывая все большие опасения у соседей... После взятия Казани был Иоанн Четвертый прозван Грозным – как и его дед Иоанн Третий. С вековым врагом покончил государь, отблагодарил народ его как мог... И что же? Почетное прозвище, данное русскими, европейцы переименовали, перевели «ужасный» – «террибль». А потом под «террибля» стали подгонять уж все, что бы ни вершил Иван Васильевич – и справедлившую кару для изменников, и прополку сорняков на государственной ниве, и всякие несуразные жестокости его правления. Крут был царь, подозрителен сверх меры и веровал в то, что все грехи Святой Руси может взять на себя, ибо он, Помазанник, отвечать за нее будет перед Богом... А кто из государей шестнадцатого столетия, века клятвопреступлений и измен, был мягок душою, в какой стране? Ничего такого не сотворил Иоанн, что бы ни водилось в других государствах, у других правителей. Бывало у тех в десять, а то во сто крат грехов поболее! Но «ужасным» прослыл только он...

А еще – не главное это, но важное, – доходили известия из России до Запада искаженными, ибо шли все они через Польшу. У Речи же Посполитой в те времена на огромные странствия на Востоке имелись свои небескорыстные виды. Потому и изменников навряд князя Андрея Курбского там привечали, и сочинителям своим доморощенным заказывали всяческие живописания ужасов, творимых московитским варваром. «Царь Васильич, прозванный за жестокость свою безмерную Ужасным» – так прямоком в заголовке одной книги и написали. Раз ехал из Рима в Москву папский легат союз заключать: Святого Римского престола и России – против турок-басурман. Так по пути, в Кракове, дали ему специально «в дорогу» почитать эту книжицу, содержавшую безмерный список злодеяний Грозного. Ужаснулся добрый католик, перекрестился слева направо и отправился назад к себе в Ватикан, видимо, благодарить судьбу, что уберегла его от встречи с сим исчадием ада.

Самый же великий урон нанес себе русский Ваня – даром, что царь! – сам, своею собственной рукой. На закате дней своих взял да и решил припомнить поименно все загубленные им души. Покаяться, короче. Список-синодик составил, вписать туда повелел всех, кого припомнили – от воров-разбойников и бояр-изменников до воистину жертв невинных и оговоренных. Разослать велел царь этот список покаянный по монастырям на помин, дал еще монастырским вкладов щедрых – отмаливать его царскую душу грешную да поминать воедино всех усопших... Вот этого ему после и не простили! Ибо истинно цивилизованный европейский правитель всегда прав, каяться ему не по чину.

Что же до Колдырева-старшего, то был он Иоанну Васильевичу предан искренне, всей душой, и, вероятно, потому сдружился с человеком, коего вообще мало кто любил при дворе, – а скорее, все просто боялись. То был начальник царской охраны Гришка Бельский, царев сторожевой пес. За громадный рост и силу наградили его метким прозвищем Малюта, то бишь, Малыш, и прозвище вскоре заменило настоящее имя... А фамилию другое заменило прозвище, по отцу, – Скуратов, то есть высокий, стройный. Хоть и считали Малюту все лишь палачом-извергом, но в жизни был он не только мастером пыточных застенков, но и попреж всего – солдатом. Участия в государевых походах Григорий-Малюта Бельский-Скуратов никогда не чурался, и в сечи был всегда – в первых рядах.

На войне-то и сдружились Дмитрий и Григорий.

Другим другом Колдырева в Москве стал царский любимец поп¹⁹ Сильвестр, и некоторое время эта дружба сильно помогала Колдыреву в продвижении по службе. А потом вдруг Сильвестр впал в немилость. Друзья и советники молодости: Адашев, Сильвестр, Вискова-

¹⁹ Слово «поп» в православной России не носило никакого уничижительного оттенка, происходя от греческого *pappas* – «отец», «священник».

тый, Курбский, – царю надоели. Кому-то хватило чутья отойти в тень, а Сильвестр все лез да лез к государю со своими нравоучениями: все-то он знал, во всем-то царя поправлял... Но в конце концов и этот все понял и задолго еще до введения опричнины вдруг покинул Москву. А потом круг старых друзей постигло несчастье: предал и перебежал к полякам князь Андрей Курбский. Плохо перебежал, по-подлому. Семью и детей – и тех бросил, с собой не взял. И не просто сел подле польского престола, так стал полки польские водить на русскую землю, а государю, словно дразня его, – письма срамные слать, позоря его и уличая в грехах страшных, как подлинных, так, впрочем, и мнимых. Для Колдырева последствий то никаких прямых не имело, Курбский был заносчив, и со «всякими Малютиными дружками» не знался. Только вот отныне бывшее покровительство Сильвестра – вот это стало считаться червоточинкой: всем, кто близко ли, далеко от изменника был, Иоанн теперь не верил. В общем-то, он теперь уже вообще никому не верил.

Без малого в тридцать лет Дмитрий женился, сосватав боярскую дочку, на которую заглядывался не первый год. Людмила Грязнова пошла за него охотно: ладный собой, веселый да удачливый дворянин ей нравился...

Словом, жизнь складывалась, несмотря на тревожное время и нелегкую службу. Впрочем, и на службу жаловаться было грех: место в Кремле он занимал завидное и жалованье имел немалое. Это его и погубило.

Внезапная опала обрушилась будто топор на голову. Даже не опала – угроза неминуемой гибели. В последний момент предупредил его человек, коему по должности никак нельзя было этого делать: его друг Малюта.

Тогда-то, зимой тысяча пятьсот семьдесят второго года, не исполнил Малюта Скуратов государева повеления. Поздней ночью, один, прискакал он к терему своего друга и, едва перекрестясь на образа, сказал:

– Беги, Митька! Не смог я отговорить государя! Он и мне не верит, твердит, что без огня дыму не бывает. Тень Сильвестра на тебе! Государю уж все едино, что этот поп блажной, что изменник Курбский, да будет проклят род и потомство его. Раз, мол, доносят, может, ты и вправду – упырь, изменник.

– Ты в это веришь?! – вскинулся Дмитрий.

– Верил бы, не сам бы к тебе приехал, а людей послал! – насупился богатырь. – Я ж наземь пал перед Иоанном Васильевичем, просил тебя не трогать! Так нет, говорит, на дыбе проверить надобно. А на дыбе кто ж не скажет того, чего требуют? Езжай-ка, друг, отсюда побыстрее! Да не скачи в Звенигород, в имение свое, там тебя соколы мои враз отыщут.

Малюта вдруг хмыкнул:

– А то и сам государь увидит... Он туда на богомолье ездит.

– И куда же мне? – растерянно воскликнул Колдырев. – Был бы я один, а то ведь, сам знаешь: год как женат, и Милуша моя ныне на сносях. Куда ж я с нею?

Но, сказав так, Дмитрий вдруг хлопнул себя по лбу:

– Вот дурачина! Про жену вспомнил, а того не сообразил, что у нее ж вотчина своя есть: под Смоленском, в глуши, в деревушке. Она и записана не на Милушу. Да и вовсе – никто в Москве про то имение не знает!

– Вот и славно! – перевел дух Скуратов. – Собирайся скорее, жену буди да в дорогу. Слава Богу, глядь, снег пошел. Ехать можно в саних, беременную бабу в седле не трясти, и следов к утру не останется – все заметет. А уж розыскных я сумею на ложный след направить. Пускай мои волчаты рыщут в другой стороне. Прощай, брат!

...А потом была метель, заиндевелые гривы коней, влекущих сани в клубящуюся черно-белую мглу. И сдавленный крик Милуши: «Митя! Ох, помоги! Ох, не доеду... Здесь разре-шусь!»

Все будто в тяжелом сне было: бегство из Москвы, в имение жены под Смоленском, рождение прямо в дороге его первенца, который, наверное, из-за этой безумной гонки в зимней ночи родился мертвым. Милуша, милая его жена, тогда едва не изошла кровью; верно, только молитва спасла ее... Тогда он стойко принял все бедствия. Ходил в скромный деревенский храм, ежедневно молясь о здравии государя (прежде, чем о себе и о супруге), а равно и о том, чтобы царские подозрения рассеялись, чтобы изгнаннику возможно было возвратиться в Москву.

Нежданная смерть Малюты перечеркнула надежды. Время шло, известий из Москвы не было... В конце концов они с Милушей смирились и просили Всевышнего только о даровании им детей. Но после тех несчастливых родов Людмила все никак не могла понести.

Минуло двенадцать скудных лет в затерянном среди смоленских лесов селе, с горькими думами о том, что жизнь протекает бесполезно... В Москву он возвратился только после кончины государя. Узнав о незаслуженной опале воеводы, призвал его на службу новый царь Федор Иоаннович.

Был это тысяча пятьсот восемьдесят четвертый год от Рождества Христова, и Дмитрию на ту пору сравнялось уже сорок четыре года. Не старик, нет, но начинать все сначала... Однако он, не раздумывая, отправился в столицу с женою и новорожденным сыном. Да, Бог в тот год наконец даровал наследника – после того как бездетная чета наведалась на богомолье в псковские Печоры, к знаменитой иконе Успения Божией Матери. Крещен наследник был Григорием, в память друга-спасителя Малюты Скуратова – Григория Бельского. Вновь поднимался Колдырев из своей безвестности – раз зовут еще послужить Руси, то раздумывать тут нечего!

Но привыкнуть к новым порядкам, введенным царем Федором, Дмитрию оказалось непросто. Вот ведь едва не погубил его – а ведь погубил бы! – отец царя нынешнего, но не раз и не два вспоминал старые времена он добрым словом. Вроде и мягок и благочестив был новый государь, вроде и милостив с поданными, особо с военными... Да не было теперь в Москве и, как видно, во всей Руси Великой, той ясной прямой воли, того упрямого стремления, которым отличалось государство при Грозном.

Так поначалу и служил-маялся Колдырев в Москве, пока власть как-то плавно не перетекла в руки государева шурина Бориса Федоровича, и вновь многое изменилось. Борис Годунов был решителен и умен, когда нужно, умел резко возразить, а когда приходилось, умел и смолчать – не царь ведь, царский шурин, что же поделаешь?

По ходатайству Годунова Колдырев и получил назначение – вторым воеводой на Смоленске. И тотчас отбыл в те места, где столько лет они с любимой женою тщетно молились о снятии опалы и о даровании им ребенка... И снова – совпадение, снова на смоленской дороге его ждала страшная потеря. Супружница его простудилась – и сгорела за три дня. Похоронил он свою Милушу в ограде простой деревенской церкви, в Сущеве.

В Смоленске Дмитрий Станиславович прослужил с перерывами десять лет, и в конце концов решил подать государю прошение об освобождении от службы. Смоленская крепость была построена, встала на Днепре во всей своей горделивой мощи. Понял старый Колдырев, что главное дело своей жизни свершил – и решил на этой высокой точке уйти на покой. Воеводе было уже за шестьдесят, так что отказать царь не смог.

И круг замкнулся. Колдырев-старший, на сей раз один, вновь водворился в жениной вотчине под Смоленском.

Окончательно оставив службу, Дмитрий Станиславович, чтоб не сидеть без дела, занялся починкой и переделкой старого дома. Тот был не велик – двухэтажный бревенчатый терем, с тесаной крышей, с небольшими оконцами, затянутыми по старинке бычьим пузырем. На модные нынче цветные стекольца из слюды, которые в Москве вставляли в окна вот уже давно, нужно было слишком много денег. Григорий в один из последних своих приездов предложил

отцу пригласить московских стекольщиков – он уже мог сделать отцу такой подарок. Но старик заупрямился:

– Чтоб тебя видеть, мой сокол, света мне и так довольно. А если что, так свечи имеются, слава Богу, не при лучинах сижу. Дорогие столичные красоты не для меня.

– Так ведь уже и в Смоленске, почитай, все в теремах со стеклами живут, и в других городах, что ж нам-то отставать? – недоумевал Гришка. – И слюдяные мастерские нынче больно хороши стали – московскую слюду вон фряжские купцы вовсю на перепродажу стали покупать. Стоит слюда куда дешевле европейского витражного стекла, а крепка, и свет сквозь нее тоже красив. Недаром каменным хрусталем называют. Можем с цветами или с узорами заказать – красота будет – глаз не оторвешь.

– Вот помру, будет имение твое, ты для себя дом и обустраивай! – упирался старик. – Молодую жену, даст Бог, приведешь и сделаешь все, чтоб ей понравилось. А мне на баловство денег жаль.

В остальном хозяин постарался дом приукрасить: своими руками поменял доски расшатавшегося крыльца, обнес его новой оградой с резными балясинами, велел своим рукастым мужикам вырезать новые нарядные наличники.

В комнатах (внизу и наверху их было по три) тоже царил строгий, пристойный порядок. Здесь чисто мыли полы, следили, чтоб ни на подоконниках, ни на ларях, ни на столах со стульями не было и пылинки. Наверху, в большой комнате, где Дмитрий Станиславович вечерами сживал с книгой, стояла иноземная диковина: небольшой, однако же очень изящный кабинет немецкой работы – Григорию уступил его в полцены купец из Гамбурга. В кабинете Колдырев-старший держал перья и бумагу, самые любимые книги, деньги, а в отдельном ящике – еще одну диковину, тоже сыновний подарок. То были часы, размером с гусиное яйцо. Они и имели форму яйца, открывались посередине, так что показывался лазурный циферблат с римскими цифрами. Снаружи серебряное яйцо украшали мелкий жемчуг и кораллы. Красивая витая цепочка, продетая через колечко, предназначалась для того, чтобы крепить диковину у пояса.

– В Европе это давно уже не диво! – пояснил Гриша, вручая отцу подарок. – Уж лет сто, как научились немцы делать такие часы. Их в Нюрнберге придумали, потому так и называют: «нюрнбергские яйца». И носят на поясе по две штуки.

– Зачем же так много? – удивился старший Колдырев.

– Так ведь там, внутри, пружина-то не особо надежная. Потому время они показывают не совсем точно. Ну, люди и сравнивают: на одних столько, на других, скажем, лишние плюс полчаса. Вот и прикидывают, сколько на самом деле.

– Лучше б пружину понадежнее придумали... – проворчал Дмитрий Станиславович.

Однако же подарком остался доволен. Ежедневно по нескольку раз заводил «яйцо» и любил слушать, как оно тикает.

Но главным в доме отставного воеводы было оружие. В большой комнате по стенам были развешаны сабли, кинжалы, щиты, над изысканным европейским кабинетом нависал, тускло сверкая, настоящий турецкий ятаган. Меж двух наискось повешенных пицалей был пристроен диковинного вида пистоль с рукояткой, украшенной мерцающим золотистым камнем. Дотошный Григорий вызнал у знакомого московского ювелира, что камень носит красивое и загадочное название «авантюрин». Пистолей у Дмитрия Станиславовича было еще четыре, куда попроще – он развесил их над ларями, и там же, на двух кованых гвоздях, висел старый бердыш, тяжелый как бревно. А ведь в бою таким махать надо, колоть что есть силы...

Про это собрание оружия очень любил расспрашивать старика его приемыш Саша. Дмитрий Станиславович взял сироту на воспитание – неожиданно для всех и для себя самого. Едва только получив дозволение заходить без спросу в дом хозяина, Санька бродил от стены к стене, раскрыв рот и рассматривая сабли, а бердыш как-то даже умудрился свалить. Громадина

грохнулась на пол вместе с вцепившимся в нее перепуганным мальчишкой, и широкое лезвие выдрало здоровенную щепу из половицы. Санька отделался синяками – считая и тот, что остался после могучей хозяйской затрешины. Дмитрий Станиславович привязался к шустрому пареньку, но баловать его и прощать озорство не собирался.

Теперь, спустя четыре года, Саня изучил все оружейное собрание вдоль и поперек, умел чистить и заряжать пищали и пистолы, знал, как наточить саблю. И только драгоценный пистоль с авантюриновой рукояткой Дмитрий Станиславович брать не позволял. Правда, в его присутствии, вот как сейчас, можно было потрогать редкую вещицу, подержать с минуту, но заряжать, взводить курок – это боже упаси! А Саньке больше всего на свете хотелось стрельнуть именно из этого пистоля...

...Между тем Колдырев-старший спешил навстречу гостю. Подошел, сложил руки, склонился под благословение. Потом обернулся к слугам:

– Петушка, живо закуску – пирогов, если испечь успела, яблок. Вино из погреба достань, то, помнишь, что Гриша привозил. Да пару кресел тащите за ограду, в рощу! Не стоит в такой день дома сидеть. Вот гостю дом покажу, да и пойдем Днепром любоваться. Так ли говорю, батюшка?

– Так, боярин! – с улыбкой кивнул священник. – Порадовал ты меня, грешного: мне-то сказывали, будто ты которую неделю болеешь. А я пришел – ты на ногах, весел. Вот уж слава Богу!

– Так уж не исповедовать ли меня ты пришел, батюшка? Соседи наши любят напридумывать! Экие выдумщики! Так что, в дом идем, мои оружейные собрания смотреть? Или сперва посидим с тобой среди лип да винца откушаем?

– Я бы начал с трапезы. После службы пришел, так что не прогневайся, боярин: голоден и не скрываю!

Колдырев вслед за своим гостем благодушно рассмеялся.

Они уселись в душистой липовой тени, и батюшка (звали его отцом Лукианом) принялся осторожно расспрашивать хозяина о жизни деревни, о том, с какими бедами приходят к нему крестьяне, какие хвори случаются в этих местах. Колдырев все знал преотлично. Да и о хворях ведал немало, видно, на войне набрался знаний, какие да как лечить. В случае чего крестьяне шли не к знахарке, а к барину.

– Любят тебя в деревне, – улыбнулся отец Лукиан. – Я здесь всего пару дней, а уж столько слышал о тебе хорошего... А правда это, что при тебе Смоленская крепость строилась?

Старый воевода не ответил, а вместо того налил себе и священнику еще по бокалу из темной вытянутой бутылки. Вино было терпкое, крепкое, хорошей выдержки, и первый бокал уже слегка ударил в голову тому и другому.

– Пей, батюшка, пей во здравие! – воскликнул Дмитрий Станиславович, приметив в глазах гостя некоторое опасение. – Это кажется только, что с первой же чары дуреешь, но потом и мысли ясные, и ноги не подводят... Это вино сын мне привез. Венгерское. Ну, бывайте здравы...

– На здравие! – Священник перекрестился, осушил бокал и снова спросил: – А что же твой сын, где служит?

– В Москве, при дворе да при Посольском приказе, – теперь с гордостью ответил Колдырев. – Все языки уже знает, ныне вот с англичанином важным по европам катается. Как самозванец на Русь пер, так мой Гришенька в войско засобирается. А ведь не воин он у меня, скорее уж книжник... Так, знаешь, батюшка, я его отговорил. Так хотелось мне, старому рубаке, благословить сына на подвиг бранный, а подумал, что Руси он больше пользы принесет в своем приказе. Отговорил. И прав был! Прав!

Колдырев даже стукнул кулаком по столу. А потом добавил со слезой в голосе и вроде как совсем не к месту:

– Когда моя Милуша преставилась, я думал, что и сам жить не стану. Спасибо, Гришенька со мной остался!

Все-таки ему было уж под семьдесят, да и вино... вино было изрядной крепости.

Лукиан молвил с ясной, простой улыбкой:

– Бог призывает к себе человека в лучшее для него время. Не надо на это сетовать. Если человек жил светло, праведно, то уходит тогда, когда на душе у него всего светлее, чтоб мытарств меньше было, чтоб поскорее в свет окунуться. Значит, так ей лучше было, Милуше твоей, Людмиле Афанасьевне.

– Значит, так.

– Кто знает, что было бы дальше? Кто знает, что с нами будет? Не тужи, боярин!

– Теперь-то уж чего мне тужить? Одно вот горько: что с Русью-матушкой делается? Беда за бедой!

– Но уж ты-то, воевода, для обороны страны порадел. Твои заслуги всем известны...

– Вот, батюшка, ты про крепость спрашивал...

Дмитрий Станиславович умиротворенно откинулся на спинку кресла, сложил ладони на ручке трости, поднял голову к небу и чему-то хитро улыбнулся – как будто ведал некую тайну, известную лишь немногим посвященным. Солнце, пробиваясь через листву, нежарко ласкало его лицо.

– Крепость воздвигнута на века! – доложил он. – И через сто, и через четыреста лет стоять будет! Государь наш Федор Иоаннович, по совету Бориса Годунова, приказал перестроить ее по самым последним правилам фортификации. Всей Россией строили. Могу сказать, не хвастая, стремительно, за семь лет всего – воздвигли. И теперь Ключ-Город у русского царя на поясе – захочет государь, ворота затворит, а пожелает – так и распахнет. И, сказывают, второй такой крепости в Европе нет!

– Верно говоришь, – кивнул отец Лукиан. – Смотрю, бывает, на нее поутру – диву даюсь: это ж сколько труда, сил и материалов затрачено! А ежели войны никакой не будет, это что же получается, это получается, зря ее возводили?..

Дмитрий Станиславович посмотрел на собеседника очень внимательно и сказал серьезно и тихо, нажимисто:

– Не зря, батюшка. Ой как не зря, уж поверь старику.

Сказав так, Колдырев замолчал.

– Ну, чувствую я, рассказывать о крепости ты не желаешь по каким-то своим причинам, и да Бог с ней, – продолжил беседу отец Лукиан. – Скрывать не буду, назначая меня в Сущево, владыко велел при случае с тобой поговорить. Прознал он недале, будто в крепостных подземельях добро какое-то государево хранится, про кое вообще мало кому ведомо. Говорят, мол, схоронено до поры что-то там в подземельях, а что да где, знаешь ты точнее всех. А, сам понимаешь, годы – многая лета тебе, воевода! – да и здоровье твое... В общем, владыко Сергей просил, чтоб в духовной грамоте ты все прописал. А лучше – так заезжай к нему, да поведай. Откушаете вместе, воеводу Михал Борисыча Шеина наведишь – ты знаешь, его супружница Евдокия ох как славно пироги-то печет...

Колдырев мрачно глянул на Лукиана. Ничего старик о просьбе Смоленского архиепископа не ответил, заговорил о другом:

– К сожалению огромному, ты, батюшка, не прав. Будет война. Слышал, ляхи вновь собираются... Сучье племя, Господи, прости. Многие у нас тут говорят – к беде дело. Вроде бы белого сокола в лесу видели.

Отец Лукиан удивленно посмотрел на хозяина, даже отнял ото рта бокал.

– Какого белого сокола?

Колдырев смутился. Надо же, священнику вздумал про всякую чертовщину рассказывать... Но, как говорят, слово не воробей.

– Да, может, и вздор все это, – с досадой проговорил старик. – Наверное, вздор. Но предание это в наших местах все знают...

...Санька, позабытый один в боярском доме, заворожено смотрел на удивительный пистоль. Дмитрий Станиславович, перед тем как выйти во двор, вновь пристроил его на крючках, но вставил его в эти крючки неплотно. Пистоль висел неровно.

– Поправить разве? – вслух прошептал мальчик...

В свои двенадцать он был не особенно высок, и с пола ему было до пистоля не достать. Санька придвинул стул, оглянувшись на окно: не видно ли с того места, где расположились трапезничать Дмитрий Станиславович со священником, его самовольства? Чтобы пистоль сел плотно на крючки, довольно было прижать его покрепче сверху. Однако Саня, сам не понимая для чего, взялся обеими руками за ствол и за рукоять и снял оружие со стены. И вот диковина у него в руках! И барина нет рядом. Можно прицелиться во что-нибудь, да вот хоть в злополучный бердыш или в песочницу, оставленную барином на верхней полке кабинета.

Кабинет!

Кабинет не заперт... А в нем, кроме всего прочего, это Санька знал точно, – лежат еще и пули. Он спрыгнул со стула, прижимая к себе вожащенное сокровище. Конечно, он сейчас повесит пистолет на место. Просто немного подержит в руках, и все.

Снова он удивился красоте этого оружия. Дуло не длинное, тонкое, потому что сделано из особенно прочного металла, по стволу – насечки непонятными буквами... Вот Гришка – тот прочитал бы. Он и читал, только Санька не понял что. А вот буквы на набалдашнике рукояти, отделанной загадочным мерцающим камнем, мальчик запомнил. MF. Санька тогда еще переспросил: точно ли так? «М»-то точно, а вот «Ф»... Вроде бы совсем другая буква. Но Григорий пояснил, улынувшись, что эта самая буква, похожая на «Г» с лишней палочкой посередине, в иноземных языках читается именно как «Ф». И еще он сказал, что такая насечка – это клеймо мастера.

– Паф! Паф! Паф! – Санька направлял ствол то в одну, то в другую сторону, целя по очереди в бердыш, в песочницу, в круглый щит, повешенный возле двери. – Паф! Сдавайтесь, вороги! Всех порешу! Сдавайтесь!

«Вот бы в пистоле была не одна пуля, а... а скажем, пять! – явилась к нему странная мысль. – Это ж скольких недругов разом положить можно! Дядя сказывал, так бывает, когда петарда²⁰ рвется: трах-тарарах, и всех вокруг убивает... Нет. Тогда ведь и дуло потребуется не одно, а пять, и как же целиться в таком разе?..»

Рукоять нагрелась, сделалась теплой, будто живой. Вернуть пистоль на место казалось слишком большой утратой. Еще немножко подержать, еще чуть-чуть. Ведь барин, надо думать, не скоро вернется в дом.

И тут у мальчишки родилась искусительная мысль: а что, коли как-нибудь, когда Дмитрия Станиславовича дома не будет, взять пистоль, уйти куда-нибудь подальше да и пострелять?

Санька понимал, что это нехорошие мысли, грешные: ну как так, без спросу утащить пистоль, которым барин дорожит пуще прочих редкостей... А ведь идти придется в лес, в чащу, не то как палить-то? А случись там, например, разбойники? Хорошо убьют, но ведь пистоль отнимут! И тогда домой не вернуться будет – уж такой вольности Дмитрий Станиславович ему не простит.

Однако искушение не исчезало, лишь крепло. Будто бы нечаянно Саня подошел к кабинету. Потянул знакомую дверцу с инкрустацией. Вон два ящичка: с порохом и с пулями. А вот и длинный ящик для запасных шомполов. Интересно, там, в заграниче, откуда привезли кабинет, эти ящики для того же самого делали, или у иноземцев в них что другое лежит?..

²⁰ Петарда – взрывной пороховой заряд, мина, бомба.

Открыв пороховой ящичек, Санька пальцем пересчитал хранящиеся в нем аккуратные кожаные мешочки. Двадцать два. Если взять один, заметно сразу не будет... А вдруг дядя Митько вздумает их пересчитать?

Мальчик немного подумал, потом открыл еще один ящичек. Там тоже лежали мешочки, но пустые, стопкой лежали, их сосчитать куда труднее... Он взял один и, по очереди раскрывая те, в которых был порох, отсыпал понемножку из каждого. Каждый потом прилежно затынул, словно их и не трогал никто. «Свой» мешочек Санька сунул под рубаху, проверил, надежен ли пояс штанов, не потеряется ли сокровище. Потом взял из другого ящика несколько пуль. Тяжелые шарики тоже надо было куда-то девать, и Санька разжился еще одним пустым мешочком.

Итак, у него в запасе несколько зарядов. Теперь, раз уж он решился, надо повесить пистоль на место и ждать удобного случая – уедет дядя в гости, значит, можно попробовать. Ночью все же страшно...

Скорее всего, он так бы поступил – уже встал на стул, чтобы водрузить драгоценную вещь на место. Но тут на подоконник, раскинув крылья, с пронзительным клекотом упала птица. Солнце заиграло в светлом, почти белом оперении. Хищный клюв раскрылся, нацелившись прямо на Саньку.

– Сокол! – испуганно выдохнул мальчик.

И не понимая, что делает, поднял руку с пистолем. Еще недавно он спрашивал, на что нажимать... И вот его палец сам собою поймал стальной шарик, надавил.

Санька знал, что дядя никогда заряженное оружие в доме не держал, а тем паче – не мог на стене повесить. Зачем тогда нажал на шарик – никогда после объяснить себе не мог. Ну не мог пистоль быть заряжен! Не мог! Но выстрел грохнул. И грохнул так, что дрогнула все еще приоткрытая дверца кабинета. И в тот же самый миг за окном раздался звон разбитого стекла, а потом – крик и яростная ругань. Мальчик свалился со стула. Сокол исчез. Пороховой дым заполнил комнату.

Пуля, выпущенная из пистоля, угодила прямо в бутылку, которую Дмитрий Станиславович в тот момент вновь наклонил над бокалом своего гостя. Бутылка исчезла, ее точно вырвало у него из руки, в пальцах осталось лишь узкое горлышко. Темно-красные брызги полетели во все стороны, заливая светлую рубашку Колдырева, попав на лицо отцу Лукиану, забрызгав его подрясник.

– Нечистая сила! Это еще что такое?! – взревел барин.

И, обернувшись к дому, тотчас увидел в окне белое, как бумага, лицо Саньки, его вытаращенные от ужаса глаза, а в поднятой почти к самому лицу руке – злополучный пистоль.

– Ирод! Отродье сатанинское! Убью, змееныш!

В мгновение ока обратившись из степенного владельца имения в грозного вояку, Колдырев выскочил из-за стола, взмахнул тростью как саблей и бросился к воротам.

– Аспида пригрел на груди своей, убийцу окаянного! Своими руками убью, задущу паскуду!

Он бежал к дому, в бешенстве ничего не видя перед собой и не думая ни о чем.

В сознании старого солдата выстрел означал только одно: нападение!

Трудно сказать, что сделал бы Дмитрий Станиславович, сумей он сейчас же поймать маленького преступника. Но Санька, увидав в окно, как что-то красное (кровь, что же еще?!) залило баринову рубашку, и услышав его проклятия, уже не мог ясно соображать. Сломая голову он ринулся прочь из комнаты, слетел вниз по лестнице, проскочил под носом у Колдырева – и только трость вырвала кусок травы у него за спиной. Санька добежал до ограды, вскочил на стоявшую впритык телегу, перелез на ту сторону и, не чуя под собою ног, зайцем метнулся в сторону леса.

– Стой! – орал меж тем Дмитрий Станиславович, кидаясь следом и понимая, что сорванца не догнать. – Стой, гаденыш, стой!

В ограде позади дома вообще-то была калитка, которую никогда не запирали, просто Саня, спасаясь бегством, о ней забыл.

Колдырев распахнул эту калитку, выскочил за ограду и увидел, как светлое пятно Санькиной рубашки мелькает уже возле самой опушки, как исчезает в лесу, сливаясь с солнечными пятнами.

– Стой! Сашка, стой, говорю тебе! Пропадешь, дурья твоя башка!

Но мальчик, видать, уже его не слышал.

Подбежавший отец Лукиан схватил барина за локоть:

– Послушай, Дмитрий Станиславович! Не хотел же он в нас стрелять. Верно, взял пистоль да случайно на курок нажал...

– Нажал?! А кто ему позволил хозяйским пистолем баловаться! – то ли гневно, то ли уже с отчаянием воскликнул тот. – Кто заряжать позволил?

– Дурное дело, согласен. А зачем же ты сам-то порох где попало оставляешь, так что и дите неразумное добраться может?

Священник был прав, кто ж поспорит... Но что ж теперь делать?

– Что ж с парнем будет-то, а, батюшка?

– Надобно его вернуть.

Отец Лукиан обернулся и увидел испуганные лица дворовых.

– Добрые люди! – Батюшка подошел к ним, и те невольно склонились, как будто для благословения. – Прошу вас, бегите в деревню, позовите мужиков, да побольше. Собак пускай возьмут. Я с ними пойду.

– Я тоже пойду! – вскинулся Колдырев, но поперхнулся и закашлялся, схватившись за грудь.

Отец Лукиан вновь взял его под локоть.

– А тебе, боярин, лучше сейчас в постель. Не дай Господь, захвораешь всерьез, мы все тут кругом виноваты будем. Поверь моему слову – что можем, то сделаем. Руку вот перевяжи, смотри, кровь, порезало осколками. И про просьбу-то владыки... не забудь.

Веселое заведение (1609. Сентябрь)

Светлая штукатурка стен подчеркивала размеры помещения, мебель была подобрана предмет к предмету, светильники из темной бронзы красиво контрастировали со стенами. Вульгарны были лишь развешанные на стенах картины – портреты наиболее известных здешних красавиц, сидящих или возлежащих в самых смелых позах. Некоторое количество ткани на этих откровенных портретах лишь выгодно драпировало самые аппетитные места. Одна из фей была написана вовсе нагой – художник одел ее лишь в коралловое ожерелье.

Свой товар пани Агнешка представляла лицом. И всеми другими частями тела.

В этот вечер у нее были все, кому положено, перед началом очередной большой войны, затеваемой европейским королем: драчливые юнцы с едва пробившимися усами, но уже открывшие в себе великих стратегов, опытные вояки, не раз нанимавшиеся в разные армии к разным государям, знавшие себе цену и заранее подсчитывавшие барыши от предстоявшей кампании, а между ними – ловкачи, едва умевшие владеть саблей, зато игроки от Бога, отменно речистые – кого угодно уболтают и, глядишь, выиграют в штосс или в ландскнехт полученное новобранцем жалованье прежде, чем тот сообразит, с кем связался. Поляки, немцы, венгры...

Разноязыкая речь звучала в зале, разогревшись вином, вояки говорили громко, сиюсь перекричать друг друга, и от этого вовсе ничего нельзя было разобрать. Голубые и черные жупаны, делии²¹, отороченные и не отороченные мехом, кирасы, шлемы с крашеными перьями. Все это уже было снято или по крайней мере расстегнуто и распахнуто, а рубахи на груди почти у каждого вояки покрыты багровыми пятнами. Но обаграла их не кровь, а вино. Вино здесь лилось рекой.

Среди рассеявшихся в креслах и развалившихся на атласных диванах мужчин вольготно себя чувствовали десятка два девиц, чей облик говорил сам за себя. Молодые – от пятнадцати до двадцати с небольшим, – были они одеты в шелковые и кисейные платья по последней моде... Но украшения у всех были фальшивые, и слишком много кармина было на губах.

Наравне с мужчинами они пили вино, громко смеялись, усевшись с ними кто в обнимку, а кто на коленях. Почти каждая успела расшнуровать корсаж, так что ее прелести вырвались на свет, причем у двоих или троих эти знаки отличия слабого пола достигали устрашающих размеров.

Окна по причине теплого вечера были нараспашку.

Веселый дом пани Агнешки всегда пользовался успехом в городе Орше, но, пожалуй, столько посетителей разом никогда в нем еще не бывало. Сама хозяйка, крупная сорокапятилетняя дама, стояла у лестницы, ведущей в комнаты для гостей, скользя взглядом по зале. Из общего гомона ее слух вырывал разрозненные реплики на разных языках.

– Он говорит: давайте, месье, отстегнем шпоры, чтобы ничто не мешало нашей дуэли. Мол, чтобы была самая честная дуэль. Тот нагнулся отстегнуть, а он его проткнул...

– Ну да, я участвовал в рокоше²² Зебржидовского, ну и что? Сигизмунд тогда был сам виноват. Король всех нас простил – ну, тех из нас, кого не перерезали под Гузовым.

– Да нет и не было у тебя никогда таких денег – капитанство покупать! И таких идиотов, чтобы продавать свою должность перед войной, тоже нет!

– Сегодня Каролинка пойдет со мной! – хрипел на весь зал высокий, грузный поляк с обвисшими мокрыми усами. Среди его раскиданных по дивану и возле дивана вещей валя-

²¹ *Делия* — кафтан с широкими рукавами, без ворота, надевался в качестве верхней одежды. В описанный период использовался как часть обмундирования польского пехотинца.

²² *Рокош* — мятеж против короля, на который польская шляхта имела право.

лась дарда²³ с желтым флажком, свидетельствующая о том, что этот пан служит десятником в войске польском. – Каролинка пойдет со мной! Я вот дам ей еще пару крейцеров. Вот и вот.

– Ай, пан, вы такой милый! – лукаво воскликнула Каролинка и выжидающе посмотрела на все еще развязанный кошель вояки.

– Я дам тебе четыре крейцера! – рассердился завитый красавчик лет восемнадцати. – Как только выиграю их в карты! Эй, кто еще сыграет со мной?

– Да никто не сыграет! – донеслось от расположенного в конце комнаты карточного стола. – У тебя ничего нет, все свое вперед полученное жалованье ты уже спустил!

– Наймись еще в какое-нибудь войско! Кто знает, где еще затевается война?

Десятник крепче охватил талию Каролинки, дал ей пригубить вино из своего бокала, а остальное опрокинул себе в рот, ухитрившись вылить половину на воротник.

– Кто тут городит всякий вздор? – прорычал он. – На какую еще войну можно идти, кроме той, для которой собирает войско наш славный король?

– А... а... кто-нибудь скажет, с кем м... мы воюем?

Темноволосый венгр в бархатных штанах, залитой вином шелковой рубашке и почему-то не снятой магерке²⁴, съехавшей ему на нос, вдруг сообразил, что этот вопрос следовало бы задать, когда он еще вербовался в войско Речи Посполитой... да как-то не до того тогда было.

– Ва... ва... ваш кр... король. Он кому объявляет в... войну-то? Шведам?

– С чего бы вдруг шведам? Опять? – расхохотался какой-то юнец, тоже изрядно пьяный. – Да мы с ними воюем уже чуть не десять лет!

– Чушь! Король Сигизмунд никогда не станет воевать со шведами, потому что он сам швед, – вмешался в общий разговор невзрачный господин с сильнейшим немецким акцентом и невыносимым апломбом.

– К... как швед? – опешил венгр.

– Да так. У него отец – швед, а мать поляка. Будь мы евреями, то определяли бы кровь по матери, а мы – добрые католики! Так что он скорее швед, чем поляк. А воевать мы пойдем нынче с москвитями, – авторитетно заявил немец.

– И давно пора! – вмешался еще один польский десятник, единственный, кто не снял жупан и даже умудрился ничем не заляпать небесно-голубое сукно. – Московия – дикая страна, населенная варварами. Огромная земля пропадает! Мы возьмем ее, и Речь Посполитая станет самой большой страной в мире!

К этому разговору внимательно прислушивался человек, недавно вошедший в зал и с трудом нашедший себе свободное место подальше от яркого света.

Это был Григорий, несколько дней назад спасавшийся бегством из Кёльна и теперь спешивший вернуться в Россию – отчитаться в Приказе о поездке с Артуром Роквелем. От Орши, куда он попал уже в сумерках, до русской границы оставалось всего ничего, и он решил весело попрощаться с Европой, посетив заведение пани Агнешки. Женщинам Гриша всегда нравился, но дома уж не будет в его жизни таких красивых и доступных девочек. «Очень символичное прощание с границей, – весело подумалось Колдыреву, – где все за деньги и за деньги – все».

Григорий иронизировал про себя – привык разговаривать сам с собой за время путешествия. На самом деле по мере приближения к границе его сначала смущало, а потом начало пугать обилие в городах и на дорогах вооруженного сброда самого разного достоинства. Военских людей становилось все больше, а Орша ими так прямо кишела. Григорий уже знал, что польский король с весны вроде собирает армию, что война будет с Россией, а вот выяснить – когда точно, все никак не получалось.

²³ Дарда — короткое копье с декорированным насечкой наконечником и отличительным знаком (флажком) хоругви (сотни), в которой служил десятник – младший командный чин польской армии.

²⁴ Магерка (искаженное «мадьярка») – круглая шапочка с плоским днищем и отгибающимися краями. Венгерский головной убор, позаимствованный польскими военными.

Мысль о том, что надо бы поспешить, вдруг в Москве еще не знают о готовящемся нападении, появилась и пропала: не может быть, чтобы не знали. Сигизмунд III собирает войско так долго, с таким шумом и размахом, что вести об этом наверняка уже распространились повсеместно. И в Смоленске, и в Москве, конечно, знали. Это он подоторвался за границей... Но вот вернуться со свежими данными, с точным днем выступления этой разномастной армии – возможно, было бы ценно.

Устроившись неприметно в углу и заказав графинчик вина с самой простой закуской, Григорий уткнулся в стакан и наострил уши: меж пьяных выкриков королевских новобранцев дата вполне могла проскользнуть.

– Пан скучает?

Нежный голосок прозвучал над самым ухом Григория, и ему на колени игриво легла ножка в атласном чулке и башмачке с красной пряжкой, ловко просунувшись под столом. От неожиданности путник вздрогнул, однако, подняв голову, улыбнулся.

Вплотную к нему сидела очаровательная девушка лет пятнадцати-шестнадцати, не старше, в пунцовом платье с наполовину расшнурованным корсажем, в ямке меж двух полушарий дрожала капелька пота, сбегая по шнурку на агатовый крестик.

– Почему пан так смотрит? – слегка подведенные сурьмой округлые брови девушки поднялись. – Я не нравлюсь пану?

– Почему же? – Григорий разом стряхнул с себя смущение. – Очень даже нравишься. Как тебя зовут?

– Крыся. – Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. – О, так пан, вижу, приезжий! Вы не поляк?

– Нет. Я русский. Хочешь вина?

Девушка захлопала в ладоши и рассмеялась.

– Ах, какой пан щедрый! И какой красивый... Не думала, что русские бывают такие красивые!

– А ты разве раньше видела русских? – без обиды, но с насмешкой спросил Колдырев.

Крыся лишь мотнула головой, поднося бокал к губам.

– Ну вот, не видела. А говоришь... Пей, пей, я еще налью.

Крыся придвинулась еще ближе, и как только Григорий обвил рукой ее затянутую в корсет талию, склонила завитую головку к нему на плечо.

– Тебя здесь нет... – Григорий кивнул на картины.

– Я новенькая. А тут нарисованы какие-то одни старухи.

И она прильнула к его уху своими пухлыми губками.

– Пан живет в Москве? Я знаю, все русские живут в Москве!

– Нет, – усмехнулся Григорий, – не все. Я вот родился и долго жил под Смоленском.

– Под чем, под чем? – Круглые бровки полезли кверху.

– Смоленском. Никогда не слыхала?

– Нет. Как, говорите, это место называется?

Григорий рассмеялся:

– Да отсюда до Смоленска рукой подать! Отчего же ты не знаешь, как называется город по соседству?

– Я не отсюда родом, – почему-то обиделась Крыся и надула губки. – Я из Варшавы, новой столицы Польши²⁵. И знать не знаю ни про какой ваш Шмольяньск...

– Да нет же! Не так. Погоди-ка, я тебе сейчас напишу.

²⁵ Де-юре Варшава стала столицей спустя почти столетие, но король Сигизмунд перенес в нее свою резиденцию в 1596 году, так что де-факто в то время Варшава уже являлась столицей Польши.

Колдырев поднял с пола свою сумку, порылся в ней. Попалась тугая трубка свитка. Откуда он здесь? А! Да это же письмо несчастного Артура Роквеля своему московскому другу. Совсем о нем позабыл...

Он вытащил свиток, поискал глазами, чем здесь можно писать. Чернильниц и песочниц²⁶ в таких заведениях явно не держат. Зато на столе лежит большой деревянный гребень. Какая-то красotka вытащила его из своей прически да и потеряла. Недолго думая, молодой человек отломил один из длинных зубцов гребня, опалил его кончик в пламени свечи и аккуратно (за почерк его в Посольском приказе всегда хвалили) начертал на свитке латинскими буквами: «SMOLENSK».

– Смоленск... – по складам прочитала Крыся. – Смольеньск!

– Это мой город родной, – кивнул Григорий. – Москва, конечно, и больше и богаче, но для меня Смоленск – самый светлый град. Хоть и происходит его название от черной кипящей смолы.

– Ой, какое страшное название! – надула губки Крыся. – Разве можно так называть город?!

Григорий на мгновение смешался. А и в самом-то деле: «смола» на польском – это же пекло. Ад! Увлечшись, он так и сказал: *pieklo*. Вот интересно, как-то раньше и не задумывался... Но не смог отказать себе в удовольствии блеснуть пред девушкой познаниями:

– Нет, барышня. Смоленск – он отчего так называется? Что стоит на реке, по которой купцы из всяких стран товары возят. В нем в старые времена купцы эти лодки свои чинили, конопатили и смолили, а жители местные им смолу продавали. Оттуда и пошло. И вообще, Смоленск – самый древний город на Руси. Даже Москва его моложе!

– Что ты несешь, бродяга? – неожиданно вмешался здоровенный усатый десятник, тот самый, на коленях у которого сидела пышногрудая Каролинка. – Какой такой на Руси? Смоленск – исконно польский город!

Колдырев обернулся к поляку, оглядел его с ног до головы, словно не слышав оскорбления, и спросил проникновенно, вполголоса:

– Если Смоленск – польский город, пан десятник, то отчего же в нем никто не говорит польски? А оттого – что всегда он был русским, от основания, испокон веков, еще от Киевских русских князей! Польша его полонила, да ненадолго, уж сто лет прошло как Россия его себе вернула. Вам бы историю знать получше, да, как я понимаю, вы ей не особо обучались.

– Что-о?! – Лицо десятника побагровело, отчего усы на нем показались совершенно белыми. На них уже стали оборачиваться: кто тут исходит злобой вместо того, чтобы пить и веселиться? – Это я не обучался истории?! Да благородному шляхтичу незачем обучаться, он все знает от самого рождения, по крови! А ты что тут мелешь, лапотник! Москальский выкормыш!

Нет, подумать только! Заглянул в заведение посидеть-послушать, на рожон не нарываюсь, да с Европой попрощаться, а тут какой-то выскочка, лях безродный, будет его, русского дворянина!.. Хотя... Хотя, может, вот как раз удобный случай узнать – *когда!*

– Правда? – очень спокойно Григорий ногой отодвинул соседний стул вместе с испуганно взвизгнувшей Крысей и встал. – Оно и видно, как посмотришь вокруг, – он обвел рукой зал, – так и видишь, кто из нас дикарь... Да ни в одном русском кабаке я такого скотства не видывал! Уж в нашем Смоленске-то точно, разлюбезный пан десятник!

²⁶ В описываемое время чернила сохли медленно да еще и расплзались на бумаге, поэтому написанное обычно присыпали мелким песком из специальных песочниц. Когда песок высыхал, его стряхивали – вместе с впитавшимися в него лишними чернилами.

– Ах ты ж, psja krew...²⁷ – офицер схватился за то место, где должен находиться эфес его сабли, но сабля лежала в двух шагах, среди всей его сваленной в беспорядке амуниции. – Забыл, кто мы и кто вы, свиньи?! Ничего, скоро наш король заставит вас вспомнить!

– Скоро – это когда? Никогда? Который месяц все собираетесь? По кабакам песни орете. Еще поорете – и разойдетесь снова против своего же короля бунтовать. Боязно ведь на Русь лезть, правда? Или пан знает день, когда придет к нам с мечом?

– Двадцать пятого сентября. – Десятник даже не заметил, что выдал военную тайну. – Двадцать пятого сентября мы зададим вам урок. Двадцать пятое – первый день! Кровью своей гнилой заплатите за науку! Смоленская земля была, есть и будет наша, а русские мужики были, есть и будут нашим быдлом – рабочим скотом! А ваши бабы годятся только, чтоб ноги перед нами раздвигать, и то только тогда, когда нет рядом с нами настоящей женщины! Ха-ха! И ежели кто сомневается, могу преподать ему урок прямо сейчас!

С этими словами десятник дотянулся наконец до своей сабли, рванул ее из ножен и, отпихивая столы, опрокидывая стулья, ринулся к Григорию. Несколько поляков вскочили с мест – пытаясь удержать взъяренного земляка и усадить на место. Женщины заверещали еще громче юной Крыси, но на них уже никто не обращал внимания.

Колдырев тоже выхватил свою шпагу, резко забросив за плечо сумку. Он был еще совершенно трезв, поэтому хорошо понимал: история выходит скверная. Отбиться от здорового десятника, хотя бы и пьяного в стельку, у него вряд ли выйдет, тут надо уносить ноги.

– А ну-ка прекратить!!!

Низкий, почти мужской голос перекрыл яростные вопли военных и женский визг.

– И так уже всю мебель вином залили, теперь только крови мне здесь не хватало, отмывая потом! Сабли в ножны, или я мигом позову солдат из казармы! Они все мои клиенты и будут только рады избавиться от соперников.

Пани Агнешка возникла посреди зала, разделяя готовых ринуться в драку мужчин. Ее фигура в черном платье с алыми перьями была весьма внушительной, а повелительный голос мгновенно подействовал отрезвляюще. Даже рекруты, недавно приехавшие в Оршу, успели прослышать про ее крутой норов и про покровительство, которое оказывают ей все в городе, вплоть до командующего гарнизоном, а потому желание затеять кровавую потасовку в веселом доме у большинства из них пропало.

У большинства, но не у всех. Разъяренный десятник успокаиваться не собирался.

– Этот щенок мне за все ответит, – прорычал он. – Я его проучу!

– Ваше дело, пан, – отрезала пани Агнешка. – Можете хоть в капусту друг друга изрубить, но – только за дверями этого дома. И желательно подальше от его порога. Вон отсюда, если не хотите, чтобы завтра же я пошла к пану Збыховскому. Ведь он командир вашей хоругви, я не ошиблась?

Услыхав фамилию командира, десятник присмирел. Зато другой поляк, еще более пьяный, завопил на весь зал:

– На улицу! Пошли-ка на улицу! Эй ты, деревенщина, а ну докажи, что умеешь не только языком болтать!

– Уходите отсюда, пан из Смоленска! – заплакала успевшая спрятаться за спинкой дивана Крыся. – Уходите, или вас изрежут на куски!

Кровь вдруг ударила в голову Григорию. Пожалуй, такого с ним еще не бывало.

Равнодушное хладнокровие, с которым он поначалу лишь хотел, слегка подразнив ляхского десятника, вывести дату нападения, совершенно покинуло его. Он сжал челюсти, ему казалось, что они дрожат, но не от страха – страх и само чувство самосохранения вдруг исчезли совершенно – от необъяснимо обуявшего его бешенства. Кровь, пульсируя, била ему в виски,

²⁷ *Сукин сын (польск.).*

левое веко начало дергаться, связки, держащие скулы, вдруг начали словно вибрировать и тянуть вверх, к вискам.

Он уже забыл и про важность выведенной информации, и про свой план – лишь насмешливый хохот поляков, «щенок», «курвы», почему-то суровое лицо отца, при этом молодое – в стальном шлеме с тяжелой стрелой-наносником – какие-то еще обрывочные слова, картинки, образы мелькали у него перед глазами застилая очевидное – надо бежать, бежать прямо сейчас, при общей заминке, вызванной появлением хозяйки, бежать немедленно – стоит замешкается, за порогом тебя догонят – и конец.

– На улицу, панове! – захрипел Григорий, и, взмахнув своей укороченной шпагой, первым шагнул к дверям.

Случай надежнее правила (1609. Сентябрь)

Улица была совершенно пустынна. Напротив ярко освещенного входа в веселый дом уныло коптил одинокий фонарь, дальше лишь пара тусклых окошек освещали путь. Конь Григория был привязан к одному из колец, вделанных в ограду небольшого фонтана, вместе с еще семью или восемью лошадьми: большинство гостей веселого дома разместились на постой поблизости и пришли сюда пешком. Вздумай он сейчас вскочить в седло и дать коню шпоры, вряд ли бы его догнали...

Но Колдырев снова упустил возможность спастись.

Вот уже из дверей с бранью выскочил десятник, успевший на ходу натянуть голубой жупан, пояс с пистолетом и даже перевязь с сумкой. Он был уверен, что сейчас зарубит наглого русского и ему вряд ли придется возвращаться в заведение пани Агнешки за вещами.

За десятником суматошной гурьбой вывалилось еще с дюжину вопящих, размахивающих саблями поляков... Дело оборачивалось совсем плохо. Видимо, никакого поединка один на один не будет, его просто сейчас убьют.

Григорий отступил к противоположной стене, прикрыв спину.

– Щас узнаешь, скотина, как оскорблять благородных людей! – завопил десятник.

– Вместо тебя здесь будет валяться десяток маленьких русских! – выкрикнули из толпы.

Из тех уроков, что брал Григорий, он запомнил не так уж и много, но твердо уяснил для себя одну простую вещь: на одного человека невозможно напасть более, чем вчетвером, в противном случае нападающие просто-напросто станут мешать друг другу. Однако все пошло почти по правилам. Десятник встал в позицию. Остальные поляки столпились полукругом в свете фонаря – глядя с насмешками на кончик колдыревской шпаги, который фигурально выписывал перед ними горизонтальные восьмерки. Вторым учеником фехтовальщика в Париже был странный мальчик по имени Рене Де Карт – мудрый, как маленький старичок. Де Карт очень смеялся, когда узнал, что такие лежащие восьмерки надо совершать, чтобы как можно дольше держать противника на расстоянии – и притом иметь возможность резко нанести с самой неожиданной стороны короткий рубящий удар. Шпага Григория была, как и положено, остро заточена на верхнюю треть лезвия и при необходимости не только колола, но и опасно рубила, хоть и без сабельной протяжки.

– L'infini, l'infini!²⁸ – кричал странный малыш Де Карт, вводя в замешательство и русского, и наставника-виртуоза.

«Какая чушь вспоминается в последние мгновения», – сказал себе Григорий – и, увы, едва не угадал.

Усатый десятник рванулся к Григорию, сделал пару обманных выпадов и занес над ним саблю – в тот момент, когда рука Колдырева со шпагой ушла далеко в сторону. Тускло блеснул остро заточенный металл над головой, неостановимо понесся вниз, Григорий, чувствуя, что уже не успевает парировать удар, как на тренировке, резко ушел, скрутился вниз и вбок, отчаянным нырком в сторону удара... Сабля усатого буквально скользнула ему сзади смертельным холодом по воротнику всего лишь в миллиметре от шеи. Григорий неловко изогнулся, рассчитывая по теории полоснуть соперника вершком лезвия шпаги справа, но не словчился и повернув ступню, рухнул в жидкую, растоптанную десятками копыт землю.

«Лежачего не бьют!» – мелькнуло молнией в голове Григория, но, видимо, во дворе борделя это старинное правило поединков не действовало. «А-аа!» – предсмертно заорал Григорий, не успевая обернуться, но чувствуя, как, со свистом рассекая воздух, заносится для последнего разящего удара польская сабля. Но вдруг сталь лязгнула о сталь, и судорожно огля-

²⁸ «Бесконечность! Бесконечность!» (фр.). Лежащая восьмерка — действительно знак бесконечности.

нувшись, Колдырев увидел, как десятник, почему-то выронив саблю и видно получив страшнейший удар сапогом в самое чувствительное место, стоит, согнувшись пополам, отчаянно открывая и закрывая, как молчаливая рыба, рот.

– По-вашему, это – честный бой, господа?! Пан офицер против... студента? Ну-ну!

Неожиданный союзник недобро улыбался. И тут он стал... насвистывать, а потом и запел по-немецки:

*На месте нашей встречи
Фонарь опять горит,
Горит он каждый вечер,
Но я давно забыт.
И если меня проткнут клинком,
Кто будет стоять под фонарем
С тобой, Лили-Марлен?
С тобой, Лили-Марлен?²⁹*

Увидев, что к противнику вдруг подошла подмога, а их товарищ пострадал самым жалким и унижительным образом, поляки забыли о рыцарстве и бросились вперед всей гурьбой – теперь уже на двоих. Первыми оказались наиболее горячие – рекруты, едва научившиеся держать оружие в руках, но уже возомнившие себя непревзойденными рубаками. Они толкались и бестолково шибились друг с другом, не нанося ни одного мало-мальски прицельного удара. Вдруг один из нападавших взвыл от боли и завалился на Григория; в лицо Колдыреву брызнула прямо-таки струя крови.

Уже потом он сообразил, что ранение нанес его союзник, и ранение совершеннейшее пустяковое – невероятным по точности ударом он рассек поляку ухо; но, как известно, любая, даже незначительная ранка на голове, из-за множества кровеносных сосудов, кровоточит обильно...

Колдырев стряхнул с себя «смертельно раненного», и тот повалился наземь, под ноги остальным. Споткнувшись о поверженного вояку, упал второй, причем настолько пьяный, что сразу встать ему не удалось.

А неожиданный соратник, напевая, сделал выпад, ранив еще одного нападающего в правое плечо. Тот с коротким стоном выронил оружие. Оставшиеся предпочли отступить на пару шагов и лишь тогда, видимо, разглядели человека, неожиданно и необъяснимо пришедшего на помощь русскому дикарю.

Рядом с Григорием, плечом к плечу, стоял молодой мужчина, закованный в стальную кирасу и в легком шлеме пехотинца. Но то были не польские кираса и шлем-капаин, в этом Колдырев уже научился разбираться.

– Ты кто такой? Чего тебе-то надо? Мы с тобой не ссорились! – заорал десятник, прыгая в стороне на пятках – лучшее, как известно, лекарство от удара в промежность – и закипая еще большей яростью. – Оставь мне эту русскую скотину!

– Ваше право! – последовал ответ. – Ваше право. Может, он и русский, и скотина, но мне он – друг.

Эти слова заставили Колдырева пристальнее глянуть на храбреца, и под козырьком шлема он при отблеске фонаря рассмотрел знакомые рыжие усы.

– Фриц! – ахнул Григорий.

²⁹ Считается, что немецкая солдатская песенка «Лили-Марлен» появилась уже при кайзере Вильгельме. Но кто на самом деле знает?

– Яволь! – откликнулся немец, умелым батманом выбивая саблю из рук еще одного поляка. – Как это вы тогда сказали? «Случай надежнее правила»? Имеем повод в этом убедить... Куда ты пятишься, куда пятишься, дурак? Иди сюда, ты ведь, кажется, хотел драться?

Эти слова относились к юноше, у которого явно пропало желание продолжать драку, обещавшую обойтись слишком дорого – союзник русского вращал своей длиннющей шпагой, рубил и колол замысловато и без малейшей остановки так, словно продолжением собственной руки, притом оставаясь абсолютно хладнокровен.

– Господи помилуй, Фриц, мне жаль, что я втравил вас в эту схватку! – по-немецки воскликнул Григорий. – Я просто не успел удрать.

– Пф! Кажется, не в этом дело... что к вашей чести! – хмыкнул немец. – Я слышал, что наговорил тот красноречивый кретин... Эй, парень! Решил подколоть меня снизу? Это мой... любимый прием... и ответ! Н-на!

– О-о-о! Нога! – взвыл польский солдатик...

Не прошло и двух минут, как половина нападающих были без опасности для их жизни выведены из строя, остальные же продолжали пятиться, не решаясь атаковать опасных противников. К стыду своему, Колдырев вряд ли имел право разделить успех поединка с товарищем. Ибо в этот раз он, сколько ни махал шпагой, так никого из противников ни разу и не задел.

Тут в конце улицы послышался дробный стук подков и замелькали факелы – конный разъезд появился здесь, как водится, с опозданием, но определенно не случайно. Не послушались грозную пани Агнешку, не ушли подальше, и она наверняка послала слуг к местному начальнику гарнизона.

– Прочь отсюда! – закричал кто-то из поляков и мигом ретировался.

Остальные резво последовали его примеру.

Оставшись в одиночестве против двоих противников, протрезвевший десятник переминался с ноги на ногу.

– Нам тоже надо бежать! – воскликнул Фриц. – Останемся последними – первыми будем виноваты. Скорее, Григорий, или ваша любовь к Отечеству дорого обойдется не только вам, но и мне!

Они бросились к коновязи у фонтана и, перерубив уздечки, вскочили на коней.

Не оглядываясь, Григорий и Фриц рванули со двора борделя через хозяйственные задние ворота как раз в тот миг, как патруль въезжал в парадные. Они помчались во весь опор: нужно было убраться подальше, покуда ночные стражи будут осматривать поле боя и раненых, выслушивая их беспорядочную пьяную ругань.

Всадники остановились лишь на окраине города.

– Спасибо. – Григорий, перегнувшись через луку седла, протянул немцу руку. – Думаю, без вас бы меня зарубили.

– А я так не думаю... – широко улыбнулся Фриц. – Я прямо-таки в этом уверен! Вас, мой друг, нашинковали бы, как колбаски на обед, несмотря на то, что все эти мерзавцы были мертвецки пьяны!.. Да, где-то вы учились... французская школа, верно? Да и реакция есть – ловко вы прыгнули этому десятнику под саблю – рискованный прием для новичка... Только что-то потом в собственных ногах запутались, – продолжал веселиться Фриц, – вот опыта, прошу прощения, явно недостает. Готов биться об заклад, что вы не являетесь завзятым участником сабельных турниров. Я прав? Но то, что вы не испугались встать один против толпы забияк, – это делает вам честь, право слово! И именно поэтому я позволил себе вмешаться...

«Ну, не толпа, толпа просто глазела, – а один пьяный польский офицер. И не честь это вовсе, а безрассудство», – смущенно подумал Григорий, однако посчитал за лучшее в этот момент промолчать.

– ...кроме того, я должен был вернуть вам долг: вы ведь тоже помогли мне в неравной драке! Помните? – закончил немец.

– Конечно, помощи от меня вам было... – Колдырев перевел дыхание, «как от козла молока», – добавил он про себя. – Но вы-то как сюда попали, Фриц? Мне казалось, вы студент, учитесь в Кёльнском университете...

– Я? Студент?! – поразился Фриц. И горячо воскликнул: – А! Вы, должно быть, решили, что раз я повздорил с теми напомаженными существами из университета, то я тоже там обучаюсь? Großer Gott! Ничуть не бывало, мой друг, ничуть. Скучная зубрежка и просиживание штанов за старинными фолиантами – это не по мне. Я – воин, черт меня побери, а не какой-то там ученый лоб!

– Но почему же тогда... – начал было Григорий.

– Сам не понимаю, с какой стати эти «патриции» вдруг ко мне привязались! – сердитым голосом перебил его Фриц, чем заставил коня под собой недовольно фыркнуть. – Я преспокойно шел себе по улице, а эти как налетели ни с того ни с сего, окружили – и давай задирать...

«Странно, – отчего-то вспомнилось Колдыреву, – а я ведь явственно слышал и про то, что-де не место солдафону в рядах студентов...»

Но Фриц улыбался так открыто и так искренне, что всякие подозрения мигом вылетели из головы Григория. В конце концов, разве рыжеволосый немец не спас его только что? Какие могут быть сомнения в его честности?!

Фриц пригладил усы и сказал, глядя в сторону; голос его теперь звучал печально:

– А вот потом начались совершенно непонятные мне события, и я вынужден был уехать... Обидно, конечно. Однако могло закончиться и хуже!..

Он тряхнул головой и неожиданно сменил тему, как будто разговор этот вошел в область, крайне для него щекотливую:

– Послушайте, а вам бы переодеться, друг мой: поглядите-ка – у вас воротник висит, камзол разорван. Вот эти дырки – явно не от сабель, крови нет, видимо эти нетрезвые храбрецы просто цеплялись за вашу одежду, чтобы не упасть... Заметили, как я у одного удалыца из одного уха было сделал полтора ха-ха! Мой любимый приемчик! Ущерба здоровью, считай, никакого, а страху у противника – жуть, крови – фонтан, смотрю и на вас вылилось полведра...

Колдырев оглядел себя, насколько это позволял тусклый свет луны, и вынужден был признать:

– Да, видок, конечно. Черт побери, у меня же к седлу был приторочен мешок со сменой платья... Куда он подевался? Может, украли, пока я сидел в том прекрасном заведении?

– Нет, Григорий, все проще! – засмеялся немец. – Это же не ваша лошадь! Смотрите-ка: определенно польская военная сбруя.

– Вот черт, прости, Господи!.. – ахнул Колдырев, хлопнув себя по лбу. – Ну и разошелся же я, коль впопыхах сел на чужую лошадь... Ха! А до чего же, однако, оказывается, послушные лошадки у польских панцирников. Видать, кобылка решила, что я и есть хозяин, просто надрался до невменяемости и веду себя по-другому... Но что же теперь делать?

– И я ничего не могу вам предложить, – вздохнул Фриц. – Все мое на мне.

Он хотел еще что-то добавить, но вдруг насторожился.

– Что такое? – не понял Григорий.

– Погодите... Мне показалось, будто неподалеку проскакал верховой. И остановился.

– Ну и что в том? – не понял Колдырев. – Ведь это город. Мало ли людей разъезжают здесь верхом? Если бы за нами погнались, мы бы услышали не одного всадника.

– Как знать? – Лицо Фрица под зигзагообразным козырьком шлема становилось все более напряженным. – Как раз будь их несколько, я решил бы, что это – разъезд караула. А так... О дьявол!

В конце темной улочки из-за каменного забора выступил человек. Вероятно, он только что спешил... И сделал это с единственной целью: чтобы вернее прицелиться.

– Сдохни, собака! – крикнул незнакомец, спуская курок.

Немец успел схватить Григория за рукав и что есть силы дернуть к себе. Пуля вжикнула над головой Колдырева. В тот же миг, громко выругавшись, Фриц пустил коня прямо на стрелка. Тот целился теперь в него – из второго пистоля.

– Ну, ты сам напросился, – сказал немец и взмахнул рукой.

В воздухе сверкнуло короткое лезвие – убийца не успел даже вскрикнуть. Но второй выстрел все же грохнул – пуля, ударившись о булыжник брусчатки, с визгом ушла в небо.

– А ведь это был наш с вами приятель! – проговорил Фриц, спешившись и не без усилия переворачивая упавшего.

– Какой еще приятель?

Колдырев подошел. Перед ним лежал усатый десятник из веселого дома; в остекленевших глазах блестели две маленькие луны. С левой стороны его груди Григорий приметил роговую рукоять, украшенную серебром и слоновой костью. Фриц взялся за нее и рывком вытащил кинжал из тела. Клинок был хорош: узкий, обоюдоострый, с тонким кровостоком³⁰.

– Нравится? – спросил немец, тщательно протирая лезвие. – Хороший кинжал. Пожалуй, второй такой нелегко будет найти во всей Европе. Это мой дед делал – один из лучших оружейников Зуля.

– Чего? – не понял вконец ошалевший от событий этого вечера Колдырев.

– Зуля. Зуль – мой родной город. А в нем – отличная оружейная мастерская Франца Майера. Так звали моего прадеда, основателя семейного дела. А деда – Фрицем, как меня. У нас в семье так повелось – у всех мужчин имена непременно на F начинаются, фирменный стиль – для мастера клеймо и традиция – первейшее дело. Вот, видишь, на рукояти чеканка: MF. Майер Фриц.

Что-то Григорию это напомнило, что-то очень знакомое. А немец небрежно сунув нож в ножны, прислушался.

– Все тихо. По-видимому, негодяй один погнался за нами... До чего же мстительная скотина!

– А ты здорово кидаешь нож! – восхитился Григорий. – Да и вообще здорово дерешься. Мне бы так. А еще больше я бы хотел уметь вот так же – уложить врага и после этого преспокойно рассказывать про оружейную мастерскую.

Фриц рассмеялся. Под его пушистыми усами мелькнули ровные, белые как сахар зубы.

– Я вообще-то профессиональный солдат. Всю жизнь только этому – убивать – и учусь. И так получилось, что вновь ищу работу. Нанялся вот в армию Сигизмунда, был принят. И, еще не дойдя до театра военных действий, уже убил... Поляка... А ведь он должен был стать мне соратником!

Только теперь Колдырев понял, для чего приехал в Оршу человек, который дважды за последний час спас его жизнь. Стало быть, Фриц, назвавшийся его другом, – будущий враг?! Стало быть, двадцать пятого сентября они будут стрелять друг в друга?

Впрочем, это по-ихнему двадцать пятого. А по-нашему-то – пятнадцатого!³¹

– Вот что, Григорий, – сказал Фриц, – тихо-то здесь тихо, но все же нам лучше побыстрее убратся. Давай-ка возьмем все, что нам причитается, – и фьюить!

И немец с невозмутимым видом кондотьера обшарил тело десятника, стащил с его плеча сумку, вынул из холодеющей руки пистоль. Затем нащупал на поясе кошелек, отцепил и подкинул на ладони.

³⁰ Тут Григорий ошибается. Продольное углубление на клинке неправильно называть кровостоком, ибо предназначено вовсе не для этой цели. Называется оно «дол» и служит для облегчения и увеличения прочностных характеристик клинка.

³¹ Григорианский календарь был введен всего за три десятилетия до описываемых событий – в 1582 году, когда отсчет времени был передвинут на 10 суток вперед. Соответственно разница в датах с нашим юлианским календарем тогда составляла всего десять дней. Она постепенно будет накапливаться, и к моменту, когда на григорианский календарь перейдет Советская Россия, станет составлять уже 13 дней. В 2100 году разрыв увеличится до 14 дней.

– А вот это славно! Поделим.

Колдырев сам себе удивлялся. Мало того что он совершенно спокойно рассматривает только что убитого человека, так ведь его даже не передернуло, когда убийца принялся хладнокровно обирать мертвеца!..

Немец между тем деловито оглядел голубой жупан десятника.

– Хм! Ни пятнышка крови. И на штанах тоже. Только на рубашке... Слушай-ка! А не переодеться ли тебе в это? Да не кривись, не кривись, на войне нередко приходится снимать барахло с покойников и напяливать на себя. Такая штука – война. Кстати, в польском военном платье тебе и уехать отсюда будет легче.

Колдырев вынужден был согласиться. Более того, он достал из сумки грамоту из Приказа, удостоверяющую, что ее податель – московский толмач, пребывающий за границей по государственным делам, и изорвал ее на мелкие клочки. Фриц, наблюдая за этим, поощрительно кивнул:

– Правильно. Если нас остановит разъезд и решит обыскать, то могут возникнуть нехорошие вопросы: форма – польская, а бумага – русская...

Спустя несколько минут они уже скакали прочь. И лишь отъехав на порядочное расстояние, Григорий со вздохом сказал:

– Я, похоже, втравил тебя в дурную историю, Фриц. Ты ведь польский рекрут, так?

– Так, – немного насторожился Фриц. – И что с того? Тебя это смущает?

– Вовсе нет. Просто... Хотел спросить: как ты будешь выкручиваться – после того, как уложил польского офицера?

– А! Да никто ж этого не видел, – равнодушно пожал плечами немец. – Из Орши, само собой, надо уносить ноги, но я ведь еще не записывался ни в какую часть да и жалованья не получил. Так что отправлюсь напрямик в Вильно, там, говорят, польский король как раз устроил временную ставку и собирает войско... Но вначале нам с тобой надо бы отдохнуть, подкрепиться да и добычу поделить.

Но постоянный двор попался лишь спустя пару часов. Друзья, вручив сонному слуге поводья, потребовали ужин с вином.

– Ну вот! – поднял Фриц глиняную кружку. – Предлагаю тост: за нас с тобой, Григорий! Пока еще мы друг друга не убили. Ты, полагаю, тоже пойдешь воевать?

– Не знаю... – пожал плечами Колдырев. – Слушай, Фриц, а это обязательно?

– Что?

– Обязательно тебе идти служить Сигизмунду?

Майер тоже пожал плечами:

– Так ведь больше деваться-то некуда. Видишь ли... – Он замешкался, сделал паузу, словно бы раздумывая, как ответить. – В общем, Кёльнский магистрат выдвинул обвинение против меня. А городские власти обвинение это удовлетворили и... ну и приговорили меня к виселице. Вот я и отправился туда, где затевается большая война. А куда податься-то? Разыскали бы в любом из городов империи, у них это дело поставлено, сам знаешь... А здесь я иголка в стоге сена и рыба в воде. Я ведь повоевать успел. В Зуль вернулся после ранения. Думал, залечу рану – и снова в армию. Хотя отец очень против был, не хотел, чтоб меня убили... чуть ли не на коленях умолял бросить военное дело и пойти учиться. Ну, вот я и пошел. Поступил в университет, а тут эти красавцы привязались, чтоб им пусто было...

«Ага, – подумал Григорий. – Значит, все же поступал в университет, зачем же тогда говорил, что не студент?..» Потом он вспомнил роковую стычку с «патрициями», скривился и осторожно спросил, подливая вина в ту и в другую кружку:

– Фриц, а за что тебя собирались повесить?

– За то, чего я, клянусь Богом, не делал... По крайней мере, в тот раз. Видишь ли, я, как всякий военный, отправил на тот свет немало душ. Но та подлая душонка, честное слово, не на моей совести.

Смутное подозрение закралось вдруг Григорию в душу...

– Так что же тогда случилось? – спросил он.

Фриц сделал большой глоток и весело сощурил свои голубые глаза.

– Если бы я знал, что случилось на самом деле, я бы... В драке на Университетской улице мы с тобой хорошенько проучили этих уродов. Но все они ушли с места потасовки целыми и невредимыми, так ведь? Это вся улица видела. А наутро я вдруг узнаю, что одного, богатого сына члена Магистрата, нашли поутру заколотым прямо неподалеку от того места!

Григория будто ушатом ледяной воды окатили. Со всей ясностью он вспомнил темную улочку, короткую стычку и тело, нелепо раскинувшееся на мостовой. Как он бежал тогда из Кёльна! Как гнал, гнал коня, воображая несуществующую погоню! А в это самое время Фрица Майера обвиняли в убийстве, которого тот не совершал!

Таинственный отшельник (1609. Сентябрь)

Санька бежал, не помня себя и ничего не видя окрест. Ужас, обуявший мальчика, толкал его в спину, требовал бежать и бежать, а куда, для чего – Александр и сам не мог бы сказать... Может, гнал его вперед инстинкт русского крестьянина: как встанут между беглецом и злым баринком пара верст леса, так и вольная, считай, вышла. Ищи-свищи.

Когда мальчик остановился, он все еще держал пистоль с авантюриновой рукояткой. Опустив глаза, увидел свои исцарапанные, окровавленные ноги. Сколько раз говорил ему дядя, чтоб не ходил босой, будто он мужик какой-то, а не дворянский воспитанник!

Чаща кругом казалась грозной, будто в детских сказках, что ему рассказывала маменька. Те сказки он помнил смутно, но знал, что именно в сказочном лесу должно быть такое густое, едва пробиваемое солнечным светом столпотворение толстых стволов, пушистых от наростов на них лишайника... А мох-то, мох-то здесь каков – прямо по колено, сырой, испускающий густой, приторный запах...

Сколько ж до дому? Вроде бы недолго бежал... Но, верно, ошибся: вон сквозь качающиеся макушки просвечивает небо – темнеющее, становящееся ниже, тусклее. Значит, приближается вечер. Куда ж теперь-то?

– Господи, спаси и сохрани! – прошептал мальчик и перекрестился.

Что-то в чаще тихо ухнуло, застонало. Глухой вой послышался из совсем уж темной глубины. Неужто и волки теперь его почуяли?!

Санька вытащил мешочки с порохом и пулями, шомпол. И как ничего не выпало, не потерялось на бегу.

Мальчик сосредоточенно вспоминал дядины уроки: как заряжать-то? Ага, порох насыпается сюда. Так, сделано. Пулю – шомполом в ствол! Вот и пуля на месте. Теперь пыж... Пистоль заряжен. Волчью башку разнесет точно!.. Но ведь волки нападают стаей. Эх, ну как же не придумают до сих пор такой пистоль, чтоб не нужно перезаряжать после каждого выстрела? А то было бы как удобно: бах, бах, бах – и все волки уже издохли на подходе...

Сумерки сгущались. Чаща умолкла – ни уханья, ни воя. Тихо, будто кто-то невидимый приказал всем молчать.

Приближалась ночь. Холод, уже давно тянувший снизу, заставил Саню скукожиться и поджать под себя ноги. Но тут он вспомнил деревенские рассказы, как заблудившиеся в лесу девки залезали на ночь на деревья и тем спасались. Сунув пистоль за пазуху, он споро стал взбираться на дерево. Оттуда беглец увидал впереди, меж стволами, непонятное мерцание. Точно окошко светится. Пригляделся. Похоже, действительно оконце!

Ну и что ж теперь делать? Пойти туда? Если там разбойники, можно еще попробовать убежать. А если нечисть какая? Но зачем нечисти свет? Она ведь мрак любит...

Санька снова перекрестился, скатился с дерева и шагнул к просвету, за которым мерцал неведомый огонек.

Толстые стволы раздвинулись, и открылась поляна, скупо освещенная высыпавшими на небо звездами и тем самым светом, что сочился из окошка. Сразу было не разобрать – изба ли, землянка ли? Кажется, изба, низкая, в землю вросшая. Курьих ног, про которые в сказках говорится, не заметно. Не нечисть тут гнездится – люди живут. А откуда ж людям в чаще-то взяться?

Шаг за шагом Санька подходил к неведомому жилью, ощущая вместе со страхом любопытство. Хватит ли смелости постучать в дверь? Может, сперва заглянуть в окошко? Оконце изнутри закрывается на деревянную задвижку, а больше ничем не затянуто. Сразу все видно будет. А ну как высунется харя бесовская с пятачком заместо носа?! Или глаза жабы выпучатся?

Поднялся ветер, зашелестел, зашептал что-то зловеще-неразборчивое в кронах деревьев, прохладной невидимой ладонью погладил по лицу...

И Санька вдруг оступился – нога скользнула по гладкому корню. Он качнулся, раскинул руки, выравниваясь... а когда поднял голову, то увидел посреди поляны, как раз перед избенкой, человеческую фигуру. Показалось, что она очень высокая, будто в два роста. Вся черная, от пят до головы, покрытой черным острым колпаком... Но нет: согбенная была та фигура, горбатая. А вот ежели бы разогнулась, то роста стала бы невероятного...

Мальчик ахнул, хотел было поднять руку для крестного знамения. Но в руке был пистоль.

Тотчас в воздухе мелькнула белая птица. Сокол со сверкающим оперением пронесся перед самым лицом, взмыл в черноту, потом камнем ринулся вниз. И вот уже закачался прямо перед глазами на кривой ветке, повисшей над краем поляны.

Снова будто наваждение овладело Санькой, снова палец сам собою нашел стальной шарик. Выстрел прогремел еще сильнее, чем там, в доме. Сокол исчез, точно и не был, а согнутый человечик в черном, что стоял посреди поляны, молча шагнул вперед.

Мальчик завопил, развернулся и кинулся в чащу. Из-под ног, коротко пискнув, сигануло что-то живое, теплое, поросшее шерстью... И вроде бы чьи-то глаза зажглись в кустах, смотрят пристально, жадно, голодно. Но все тот же предательский корень зацепил Саньку за ноги, рванул, и бросил лицом вниз в густой, пахнущий могилой мох...

– Не сильно убился-то?

Прозвучавший над головою мягкий, ласковый голос разом растопил ужас, поглотивший Санькино сознание. Теплая рука легла на плечо, потом погладила по голове.

– Ты вставай, вставай. Помочь?

Санька привстал на руках, развернулся, сел. Над ним стоял сгорбленный старик в длинной черной одежде монаха. Свисающий с груди наперсный крест говорил о том, что монах не простой³², да и надо лбом старца в неверном свете звезд обозначился не колпак, как показалось со страху мальчику, а куколь схимника.

У старика было очень хорошее лицо: доброе, ласковое, почти детское, и множество избороздивших его морщинок это только подчеркивали. Глаза же сияли такие ясные, голубые, как утренний ручеек, что от их взгляда против воли делалось легко. Белая, точно облако, борода спускалась по груди к самому кресту.

– Что ж ты в живого человека палишь-то? – так же мягко проговорил схимник. – А ну как попал бы?

– Я не в тебя, дедушка! – Санька пошарил рукою в траве, нашел злополучный пистоль и протянул его на ладони, будто доказательство своей невиновности. – Тут птица была... Набросилась – думал, глаза выклюет... Сокол.

– Сокол? – в голосе старика послышалось сомнение. – Так ведь ночь уже... А не сова?

– Сокол! Вот как Бог свят! Белый совсем.

При этих словах лицо монаха стало очень серьезным. Он вновь потрепал мальчика по голове и вздохнул.

– Ну, если белый, то плохо дело... Хотя и в птицу-то тоже просто так стрелять не годится. Творение ведь Божие. Его не то чтоб убивать, хулить нельзя. Похуливше что-либо: дождь, или снег, тварь Божию, – да получит епитимию: три дня на хлебе да воде, – припомнил схимник монастырское правило. И добавил: – Хотя, ежели он и вправду был белый, то ты б его не убил...

– Почему?

– Пресвятая Богородица, помогай нам. Вставай-ка, отрок Александр. Да в дом пошли.

³² Простые монахи не носят на груди наперсного креста. В ту пору крест на груди носили только высокопоставленные или отличившиеся чем-либо священники.

Душу мальчика холодной иголкой вновь кольнул страх.

– Дедушка, а откуда ж ты мое имя знаешь?

Монах снова улыбнулся в свою облачную бороду.

– Так ведь тебя люди искали. Из деревни. На весь лес кричали: «Саня! Санька!» Я сразу понял, как тебя увидал, что вот он, тот самый Саня и есть. Идем, идем!

Санька сидел с миской на узкой лежанке, застеленной рогозиной, ел размоченный в воде хлеб с толченым луком и какими-то душистыми лесными травами. Его разбитые о корни ноги были вымыты, укутаны чистыми холщовыми портянками и обуты в лапти, ссадины на руках и коленках смазаны чем-то густо-смолистым, отчего боль сразу утихла.

Избушка, сложенная из березовых бревен, внутри казалась еще меньше, чем снаружи. Была она очень старая, совсем вросла в землю, и, чтобы войти в низенькую дверцу, надо было спускаться по ступенькам. Кроме лежанки в избе стояли небольшой строганный стол, над которым горела лучина, да сундук – верно, ровесник избы. На нем притулились кувшин с водой, глиняный стакан, берестяной туесок. В красном углу висели потемневшие иконы и большой крест с распятием, теплилась лампадка. Перед ними стояли подсвечник и аналой – здесь схимник совершал свое келейное молитвенное правило. Напротив, у двери, висел кумганец – медный рукомоийник с носиком и крышкой, под ним стояла лохань. Рядом белел чистый рушник.

– Спасибо, дедушка! – Мальчик облизал ложку и, перекрестясь, отодвинул опустевшую миску. – Тюря страсть какая вкусная!

– С голоду-то все вкусно, – проговорил старик. – Всего-то хлеб, лук да травки. Хлебушек мне иной раз из деревни приносят, на опушке в дупле оставляют. Лук да репку сам сажаю, огород завел зеленого ради растения, травки в лесу собираю... Милостив Господь.

– А зайцев в силки ловишь?

– Дитяtko ты еще неразумное. Русские монахи мяса не едят. Какова милость Божия надо мною грешным была в пустыни, что я в первые годы кушал? Вместо хлеба траву папорть и кислицу, и дубовые желуди, а голодом не уморил меня Бог. Господи, помилуй.

– Не боязно, дедушка, диких зверей-то?

Санька вспомнил свои недавние страхи в чаще и поежился.

– Монаху ничего не страшно. А хозяйшко, случалось, в самом деле захаживал, репой с огорода баловался. Чего нароет, а больше натопчет. Медведь, он ведь, как у нас в сказках, – создание разумное. И согрешить мишка может, и на дела добрые способный. Ну, так я его молитвою связал, хворостину взял да повоспитал хорошенько. Господи, прости мя грешного.

Мальчик почему-то не удивился, что отшельник так просто взял да выпорол медведя.

– А разбойничков встречал?

– Приходили ко мне. Иконы забрали, а меня повязали и бросили. Да только сами выйти из леса уже не могли. Через неделю вернулись, оборванные да израненные, назад иконы принесли. В ногах валялись. Я их простил. Ушли вроде, больше не слышал о них.

Санька счастливо рассмеялся. Как же хорошо, что этому доброму дедушке дана сила и над дикими зверями, и над злыми людьми!

– Не моя то сила, – ответил старик его мыслям. – Пустынники к Богу ближе, и все в руце Его. Дело наше одно – молитва за всех православных христиан. Потому я из обители и ушел, что... Ведь как у нас бывает? Пострижется в монахи боярин какой али князь – свои же грехи перед тем, как пред Богом предстать, отмолить. Келья у него о пяти комнат и холопов до десяти. Где благодать, спрошу? Суета одна да тщеславие. Прав был великий государь, упокой, Господи, его душу, когда писал кирилловским старцам... Я эти слова хорошо помню! «Это ли путь спасения, если в монастыре боярин не сострижет боярства, а холоп не освободится от холопства?»

– Великий государь – это Иоанн Васильевич? У меня так дядя Митько... барин мой так его называет.

– Так мы с барином твоим, рабом Божиим Димитрием, вместе Грозному и служили.

– Неужто? – так и вскинулся мальчик. – Так ты что же, дедушка, не всегда в монахах ходил?

– Не всегда. – Старик кивнул, взял со стола миску и поставил на сундук. – Это ныне я – схимник Савватий. А тогда... тогда Ливонская война была, и были мы с Димитрием твоим Станиславовичем, можно сказать, дружны. Вместе в Ливонии замок брали, когда нас из пушек накрыло. Брони нас от смерти уберегли, Колдырев царапинами отделался, а меня, вишь, как скрутило по грехам моим.

Санька смотрел на пустынника во все глаза. Вроде бы дядя Митько рассказывал о каком-то монахе, с которым его многое связывало в прошлом. Что же, неужто тот самый?

– А что до грехов... Ну вот, скажем, ты: еще и не вырос, а уж два тяжких греха на душу взял – дядюшку своего, благодетеля, едва не убил, а после и в меня, монаха, – стрелял! Скажешь: не хотел, птица, мол, явилась. Так и ее не за что было жизни лишать. Это Господь тебе указывает: если уж стреляешь, то не сгоряча, не со злобы мгновенной и не с перепугу. А поначалу – долго думай, решай и знай, в кого и за что!

Мальчик кинул взгляд на край лавки, где лежал разряженный пистоль. Поежилась, вспомнив, как алые брызги залили рубашку старого Колдырева.

– Я ж тебе рассказывал, отче: поделалось со мной что-то. Голова помрачилась. Ни в жисть бы я палить не стал! Сокол этот меня испугал!

– Нет, – мотнул головой инок, да так резко, что борода качнулась. – Не тебя пугать сокол прилетел. Он для другого дела явился...

– А для какого? Скажешь?

Чистое лицо схимника Савватия вновь омрачилось. Некоторое время он раздумывал, будто решая, отвечать ли на вопрос, ответ на который знал, но не хотел произносить вслух. Потом проговорил:

– Беда будет, отрок Александр. Большая беда. Каждому из нас – испытание. Кому какое – вскорости узнаем. А теперь ложись-ка ты спать. Утром я тебя из леса выведу, дорогу до имения покажу.

Но Санька отчаянно замотал головой:

– Дедушка... Отче! Не надо мне сейчас туда идти! Дядя Митько, может, думает, будто я в него...

Монах, до того сидевший на лавке против мальчика, пересел к нему на лежанку и со все той же лаской обнял за плечи:

– И что ж ты делать думаешь? Не в лесу ведь жить станешь?

Санька всхлипнул:

– Но ты вот живешь!

– Э! Чтоб как я жить, надо и нагрешить с мое. Ладно, дитятко: поспи, а поутру все обсудим. Может, и правда, день-другой проведешь со мной. Дядюшка отойдет, остынет, гнев у него схлынет. Давай, ложись-ка.

Все переживания этого странного дня проходили перед глазами Саньки будто череда ярких картинок, смущая, пугая, лишая сил. Он сделал над собой усилие и еще раз окинул взглядом внутренность кельи.

– Отче! А ведь лежанка-то у тебя одна. Где же ты спать ляжешь?

– А я, – отвечал Савватий, – нынче спать не буду. Мне, дитятко, этой ночью молиться надо.

– Чтоб беды не случилось?

– Беда, родимый, все едино случится. Господь ведает, о чем я Его просить буду... А ты спи.

Отрок Александр провалился в глубину бездонного сна, даже не почувствовав, как старец прикрыл его полушубком.

Сквозь сон до него, однако, смутно доносились слова молитв, которые читал схимник, став на колени перед божницей. Вернее, казалось, будто он читает одну бесконечную молитву, то совсем тихо, то громче, и тогда в его голосе слышны слезы.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Внегда поставлены будут престолы на судищи страшнем, тогда всех человек дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым; и то ведущи, душе моя, покайся от злых дел твоих!

Вдруг перед Санькой открылся огромный, полный народа храм. Люди в нем стояли на коленях и уже все хором, в единый голос творили молитву:

Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже возможет помощи нам, но дела наша осудят нас; темже прежде конца покайся от злых дел твоих!

Санька видел, что люди эти какие-то необычные, одеты совсем не так, как одеваются в деревне, да и не так, как в городе. И от иноземцев с картинок, что показывал ему Григорий, они тоже отличались. Мужчины были безбородые, а женщины, хотя и с покрытыми головами, но не все в платках – на ком-то были шапки, как у мужиков. Многие – в волнующе коротких платьях. Но они были русские, и на одном дыхании молились. По-русски.

Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвечаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святой, помилуй мя!

Сперва тихо, потом сливаясь с молитвой, потом почти ее перекрывая, откуда-то нарастал странный рокот, рев, словно невиданной силы буря готова была обрушиться на храм. И вот уже совсем близко грянуло, разорвало грохотом воздух. Заметались огни свечей, дрогнули под сводами паникадила. Грохнуло еще ближе. Так что, кажется, задрожали стены, с которых огромными глазами глядели на молящихся лики святых.

Но люди продолжали молиться.

Снаружи доносились крики, непонятный сухой, лающий треск, точно били одна за одной сотни колотушек. Вот и хор запел. И, надо ведь, что запел! «Ты еси Бог, творяй чудеса»³³, как на Троицу поют. Но тогда в храме березки должны быть, а по полу трава рассыпана... Где ж это все? И что так страшно ревет и грохочет? Будто за стенами храма – ад!

Санька поднял руку, чтоб перекреститься... И вдруг на нее сел, неведь откуда взявшись, давешний сокол. Тяжело сел, с размаху, захлопал крыльями, пристраиваясь, больно вцепившись когтями в запястье. Глянул в лицо оторопевшего мальчика глазами, в которых плескался жаркий золотой огонь, и сказал хрипло, по-человечьи:

– Иди. Посмотри, что там.

– Страшно! – выдохнул Александр.

– Не страшно. *Иди и смотри!*

Он встал (оказывается, тоже стоял на коленях!), протиснулся к выходу, отворил двери.

³³ Ты – Бог, творящий чудеса (церк. – слав.).

За дверями храма царил все тот же грохот, что-то трещало и рокотало, кто-то кричал отчаянным криком. Но ничего не было видно: буря крутила непроглядные темные вихри прямо перед самым лицом. Неужто снег?

– Я ничего не вижу! – закричал Александр, рванувшись назад.

– Смотри!!!

И тогда он увидел, как из тьмы ползут, рыча и изрыгая адский огонь, чудовища. Чудовища мчались, сминая землю, точно желая уничтожить на ней все живое. А за ними бежали люди. Но вдруг словно из-под земли перед одним из чудищ встал витязь. Чудище, видимо, не заметило его, поскольку был он весь в дивном белом одеянии с макушки до пят, не видно на снегу. Человек этот взмахнул рукой в сторону чудища. И то разом вспыхнуло громадным факелом. Но другое тут же оглянулось и извергло из пасти огонь – а через миг накатило на воина, опрокинуло, вдавило в землю.

– Что это?! Что это?! Кто они такие?! – Санька не узнавал своего голоса – тот совершенно охрип.

– Смотри! – вновь потребовал белый сокол.

И не сокол это был вовсе. Какой-то высокий воин, весь в светлом, стоит рядом. Белый плащ с плеча скользит на землю. Под изгибом шлема сверкают огнем золотые глаза.

Санька оборачивается, но храма позади уже нет. Только широкое поле с раскиданными по нему припорошенными снегом телами. И воина рядом нет больше. Лишь слова молитвы по-прежнему звучат, хотя теперь и вовсе непонятно, кто твердит их.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!

Санька вскрикнул, дернулся и... едва не упал с узкой лежанки на пол.

Избушка была полна предутреннего сумрака.

Старец Савватий так и стоял на коленях перед иконами, то сгибаясь нице прежнего в земном поклоне, то поднимая свою белую голову к образам и воздевая руку со сложенным двуперстием. Услышав возглас отрока, а затем и шорох, обернулся, оперся рукой об пол, встал.

– Что так кричал? – Голос его был все так же ласков, но лицо будто бы осунулось и посуровело за эту ночь. Может, и он, читая молитвы, что-то видел?..

– Сон был непонятный! – Мальчик сел на лежанке, мотая светлыми кудрями и пытаясь избавиться от ощущения, что все виденное им действительно было. – Я будто Страшный суд видал.

Схимник рассмеялся:

– Ну, скажешь! Откуда ж тебе ведомо, каков он будет? Никто того не знает.

– Я белого сокола видал! А потом он человеком сделался... Еще какие-то страшилища ползали, людей давили, огнем плевались.

Савватий грустно покачал головой:

– Вставай, не то жизнь проспишь. Обувайся.

Санька отыскал под лавкой лапти и сунул было в них ноги, но вспомнил, что вечером был бос, и тут же быстро глянул на схимника:

– Отче, а лапотки-то твои...

– Надевай, надевай! – Старик опять ободряюще тронул голову мальчика. – У меня своего ничего нет и быть не может. Я же монах, обет нестяжания давал. Что мне для жизни нужно, люди добрые подают, иногда сверх меры. Но не откажешь – руку дающего отвергнешь, значит возгордился! Крестьяне в дупло на опушке этих калиг лычных ишь – целых три пары засунули, а ног у меня сколько? Надевай да пошли по грибы. Хлеб-то ты вчера съел.

Услышав эти слова, мальчик радостно встрепенулся:

– Значит, можно у тебя пожить, да, дедушка? Пока хозяин меня не простит?

Савватий буркнул под нос что-то вроде: «Хозяин... Господь Бог наш – вот кто хозяин...», еще раз со вздохом перекрестился на образа и достал из-за сундука плетеную корзину.

– Пожить – оно, конечно, можно. А опоздать не боишься?

– Опоздать? К чему это?

Схимник не ответил. Шагнув к низкой двери, отворил ее и впустил в избу прозрачный поток утреннего света.

– Пошли. Грибы белые сейчас как раз из земли вышли. Нас ждут. Идем.

Грамота десятника (1609. Сентябрь)

Григория и Фрица разбудил грохот. Спросонья оба не враз сообразили, где находятся.

Колдырев скатился с широкой кровати, на которой они спали вдвоем – в точном соответствии с правилами европейских постоялых дворов, где незнакомые люди обычно делили постель, и глянул в окошко. Какой-то человек, державший под уздцы коня, колошматил в ворота постоялого двора то ли палкой, то ли рукоятью сабли. Колошматил и орал по-польски:

– Отворите! Немедленно отворайте, или я прикажу высадить и ворота и дверь!

– Это что же, за нами? – Колдырев обернулся к неслышно подошедшему сзади Фрицу. – Не из-за десятника ли нашего?

– Очень может быть, – напряженно согласился Фриц. – Вдруг кто-то все же видел нас. И донес. Надо было дальше уехать...

– Но как, бес их заberi, они проведали, по какой дороге...

– Тоже могли видеть. Да и дороги от того места ведут всего две. Слушай, Григорий, теперь не до вопросов!

Майер метнулся к своей сумке, выудил из нее бутылку шнапса и вырвал из нее зубами пробку.

– На вот, рот прополощи, – протянул он бутылку Григорию. Потом плюхнулся на край лежанки и сам приложился к горлышку.

И почти сразу дверь комнаты распахнулась от мощного пинка, и командир верховых шагнул через порог. За его спиной топтались несколько кирасиров. В руке одного из них пылал факел.

– З... занято! – на скверном польском воскликнул Фриц. – К... комната на двоих.

– Кто такие? – с порога спросил поляк.

– Мы? – Майер так похоже изображал пьяного, что Григорий едва удержался от улыбки. – Мы – добрые христиане, яснысветлейший... Э, нет, не так! Светловельможный пан! Д... добрые католики.

– Я не спрашиваю твоего вероисповедания! – рявкнул офицер. – Откуда взялись и куда едете?

– Едем к Его... Его Величеству королю Сигизмунду, в... в его ставку, в Вильно, – Фриц, ничуть не смущаясь, вновь запрокинул бутылку и побулькав водкой, продолжал: – М... мы – германцы, рекруты. У... у меня даже этот... пантет. Нет-нет, патент имеется!

С этими словами немец поднялся и, раскачиваясь, ткнулся в угол, где на сундуке была сложена небогатая поклажа путников. Взял свою сумку, порылся в ней и, отыскав свиток, шагнул было к офицеру, однако его повело в сторону, и, чтобы не упасть, он прямо-таки рухнул в объятия одного из кирасир.

– Немцы пить не умеют, – заключил тот, брезгливо отпихивая от себя Фрица. – Это ж надо так надраться.

– Неправда, мы умеем пить! – возмутился Григорий, поддерживая игру друга. – Просто долго отмечали удачу: это же прекрасно, что ваш король затеял войну и ему потребовались солдаты! Вот мы и отметили это дело... Ну, перебрали немного...

В это время офицер, развернув патент, который Фриц сумел-таки ему вручить, пробежал бумагу глазами и возвратил немцу.

– А ты? – он обернулся к Григорию.

– А я – простой воин! Не офицер, пан. З... зато по-польски говорю, понимаешь... Я люблю польских панночек! Слава Великой Польше! От моря и до моря! Ура! – Григорий слегка привстал, но тут же, потеряв равновесие, рухнул мимо кровати на пол.

Командир не сдержал ухмылки:

– Общайте их вещи, – приказал он двоим кирасирам. – Тому, кто найдет письмо, – два золотых.

У Григория екнуло сердце. Он вспомнил: среди всяких мелочей, что они с Фрицем нашли в сумке убитого Майером польского десятника, был небольшой свиток. Друзья не стали его читать, решив отложить это развлечение на завтра, когда будет светло. Не это ли письмо ищут поляки? Вдруг в нем что-то важное? И если найдут, письмо выдаст беглецов с головой! Больше ничто не выдаст – сумку убитого они предусмотрительно выкинули, а все остальное – кошель, пистоль, одежда – были самые обычные, как у всех...

Григорий кинул взгляд на свою стоявшую в углу шпагу: успеет ли схватить ее?..

Тут же он поймал предостерегающий взгляд Фрица: «Не дергайся!»

– Вот! – один из солдат протянул командиру свиток.

– Ага! – Поляк схватил бумагу, развернул, жестом приказав другому кирасиру поднести ближе факел. – Но... Пся крев, это не то! Здесь чушь какая-то. Даже непонятно, на каком языке!

По тыльной стороне письма снизу вверх шли буквы, выведенные его собственной рукой в заведении пани Агнешки: «SMOLENSK». Это было письмо купца-англичанина его московскому другу. Среди всех бурных событий последних суток Колдырев совсем про него позабыл.

– Чье это? Что это такое, что там написано? – спросил офицер, обращаясь к обоим приятелям.

– Это мое, пан! – Григорий подошел и ткнул пальцем в послание. – В моем родном городе Кёльне я подружился с купцом из Англии. Он узнал, что я собираюсь ехать воевать с русскими, и просил отвезти в Москву письмо... когда Москва падет... письмо его другу. Я не мог отказывать. Хотите, переведу, что он там написал?

– Не надо! – поморщился поляк.

– Нет, я переведу... – пьяно настаивал Григорий. – «Сколь редкая и сколь долгожданная возможность отправить вам весточку! Мой дорогой друг...»

– Заткнись! В любом случае, это не то, что мы ищем... – Он обернулся к солдатам: – Эй, вы все обыскали? Все? Хм... Тогда перетряхните-ка и постель.

Но и в постели ничего подозрительного не обнаружилось.

– Ощупайте их одежду! – последовал новый приказ. – Может быть, за поясом? Нет? А в сапогах посмотрели? Что, тоже пусто?

– Седла их коней лежат внизу, – сообщил командиру молодой кирасир. – На них нет ни сумок, ни мешков. Все здесь. Сапоги пустые.

– Хм! – уже с меньшей злостью, но с изрядным разочарованием повторил офицер и вновь повернулся к Григорию. Во-первых, тот лучше говорил по-польски, а во-вторых, явно был пьян меньше, чем его товарищ. – Скажи-ка, вы ведь выехали из Орши вчера вечером?

– Да, ясновельможный пан. Почти ночью. Уже луна взошла, – ответил Григорий и мысленно вознес хвалу Господу: не догадайся он вчера разорвать верительную грамоту из Приказа, сейчас им было бы не отвертеться.

– Ага! А когда ехали окраиной, не слышали ли выстрелов?

Вот оно! Так и есть... Дело именно в том самом поляке! Но неужто же из-за одного пьяного десятника послали в погоню целый отряд?..

Письмо! Дело в этом злополучном письме, которое Фриц, надо думать, все же выкинул.

– Какие-то выстрелы мы точно слышали. Похоже, из пистолетов. А потом вскоре нас обогнали два... нет, три всадника.

– Как они выглядели? – быстро спросил пан.

– Я не разобрал, пан. Было очень темно. Они свернули на другую дорогу.

– Дьявол! – вырвалось у командира. – Неужели ушли... Послушай, немец, вчера вечером на окраине Орши убили и ограбили польского офицера. Мне было поручено встретить гонца и

проводить... куда надо. Кто убийцы, сколько их было – нам пока неизвестно. Возможно, кто-то ранен: наш товарищ храбро защищался. Если хорошенько вспомните этих людей, какие они с виду, получите по злотому.

– С... срочно вс... вспоминай! – завопил Фриц, едва не поперхнувшись шнапсом. – Я п... видел этих троих только сзади. В черных плащах они были. Все трое. И с наброшенными капюшонами.

– Клянусь Пресвятой Девой, ничего не помню! – сокрушенно воскликнул Григорий.

– Значит, трое... Ну, хоть что-то, – сморщившись, фыркнул поляк, порывшись в своем кошеле и сунул прохладные кружочки в жадно подставленную ладонь Фрица.

– Но пан! Здесь не золотой, а крейцер! – возмутился немец.

– За то, что тебе, пьяная твоя башка, удалось рассмотреть плащи и капюшоны, и того много! – Офицер развернулся и, звякнув кирасой, шагнул к двери: – За мной, солдаты!

– А выпить с нами! – рванулся за ними Фриц и так неудачно, что опять едва не упал и вновь повис на шее у того же здоровенного кирасира.

– Да чтоб ты лопнул от своего пойла! – рявкнул тот, отталкивая немца. – Я тебе не девка пани Агнешки, чтоб ты меня лапал!

Когда за окном смолк стук копыт, друзья, не говоря ни слова, пожали друг другу руки.

– Ну, и лихо же у тебя получилось изобразить пьяного! – наконец обрел дар речи Колдырев. – Точно ли ты военный? А не комедиант?

Фриц расхохотался:

– Это у меня давний прием. Я, бывало, так на свидания к Лоттхен ходил. Девушке, в Кёльне. Встречались в саду за их домом. Я посвататься хотел, а тут эта история с содомитом и мой смертный приговор...

Воспоминание о своей невольной вине перед Фрицем заставило Григория отвернуться. Сказать, не сказать? «Да нет, – успокоил он свою совесть, – сейчас не ко времени...»

– А почему ты пьяным-то прикидывался, когда к этой своей Лоттхен ходил?

– Да потому, – ответил Майер, – что идти к саду надо было мимо их окон. А у нее ужасно строгий отец! Вот я уловку и придумал: пьяного-то кто заподозрит, что он идет к юной фройляйн? Хочешь?

Он протянул Григорию бутылку.

– Хочу. И выпьем за то, что ты так удачно сообразил выкинуть тот свиток, что был в сумке покойника.

– А я его и не выкидывал. – Фриц сделал большой глоток и протянул бутылку товарищу.

– Как?

– Вот оно, письмо.

Немец сунул руку за ворот рубахи и вытащил пресловутый свиток. От изумления Григорий чуть не выронил бутылку, которую как раз подносил ко рту.

– Как это?! Они же нас обыскивали!

– А вот так. Когда обыскивали, письма при мне и не было, – довольный Майер снова засмеялся, сияя своими великолепными зубами. – Свиток я вынул вместе с патентом, а потом... Помнишь, я два раза упал на верзилу, что стоял возле самой двери? Ну так вот, в первый раз сунул в его сумку свиток, а во второй раз вытащил и спрятал под рубахой.

Колдырев смотрел на товарища с настоящим восхищением:

– Вот так штука! Ловко! А я ничего не заметил.

– Главное – они не заметили! – подмигнул Фриц. – Не знаю уж, какой из меня комедиант, а воришкой я был бы просто отменным. Знал бы ты, сколько раз я подшучивал над приятелями! Чего только им не подсовывал – от любовных записок до вызова на поединок! В казарме бывает скучно, а это казалось мне смешным. Давай-ка зажжем свечу да прочитаем это прокля-

тое письмо. Слишком дорого оно нам стоило, чтобы просто выбросить. Только читай ты: если я еще кое-как могу сказать десяток фраз по-польски, то с их грамотой у меня совсем никак.

Григорий развернул свиток.

«Милостивый государь! – гласило письмо. – Все еще с надеждою и нетерпением ждем обещанного Вами плана подземелий крепости С., коий Вы обещали выслать пятого дня. Цена Вашей услуги остается прежней.

От имени ЕКВ СШ, Ваш преданный слуга, Т.»

Колдырев несколько мгновений оторопело смотрел на письмо. Он знал польский ну разве чуть хуже немецкого и не сомневался в том, что правильно понял написанное. Но смысл послания не сразу уложился в голове. Это что же выходит? Выходит, в крепости Смоленска, можно сказать, его родного города, – а как еще понять букву «С» из письма! – завелся изменник, который собирается помочь врагу захватить город?! План крепости! Вот это да...

– Ты понял, что это значит? – Григорий наконец поднял голову и посмотрел в глаза Фрицу.

Тот присвистнул:

– Не знаю, как у русских, а у нас это называется «крыса завелась»! А СШ – это определенно король Сигизмунд... Если у меня и была капля сожаления по поводу того поляка, которого я убил вчера вечером, то теперь я даже рад этому. Десятник-то был не просто десятник, а важный королевский гонец. Но провалил дело, потому как балбес и плохой солдат – слишком любит вино и пышные сиськи. С таким-то письмецом да заявиться в бордель!

– Мне нужно в Смоленск! – воскликнул, вскакивая, Григорий. – Немедленно!

Майер тоже привстал и глянул в окно.

– Рассветет через пару часов. Так что лучше подожди. Наши друзья кирасиры недалеко уехали, ну как нарвешься на них и бумажка будет при тебе? Поедем вместе, едва станет светать, но потом наши пути разойдутся. Боюсь, уже навсегда.

– Ты столько раз меня выручал! – Голос Колдырева против воли дрогнул. – Обидно думать, что скоро мы расстанемся, а через несколько дней станем врагами...

– Мне тоже обидно, – кивнул немец. – Однако это жизнь, ничего не поделаешь... А пока прости, Григорий, но оставшиеся два часа я еще посплю. Пришлось изрядно нахлебаться шнапса, когда я изображал пьяного.

С этими словами Фриц вновь растянулся на постели и тут же безмятежно засопел.

А Григорий заснуть не мог еще долго. Теснились, толкались, мешались в голове не связанные друг с другом мысли: об убитом сэре Роквеле (что это такое «маленькое», о чем в последнюю минуту говорил англичанин?)... О дьяке из Приказа, обязавшего Колдырева следить за Артуром, об обоих письмах, спрятанных у него в сумке... О Фрице и об этом его выражении «крыса завелась», о пятнадцатом сентября...

И тут его вдруг осенило. Роквель не говорил «маленький», это просто хозяин гостиницы не так понял! Артур перед смертью бормотал на родном языке – по-английски: «small... Смол...» И это может означать только одно: Смоленск.

Отдѣлъ 3

Щит и меч (1609. Сентябрь)

*Смоленск – отчизна изначала, от предков
Иоанн Грозный*

Катерина (1609. Сентябрь)

Рассвет обвел розовым зубцы крепостных башен, затем окрасил золотистой краской стены... Красива была крепость! Высокая, с равномерно расположенными башнями, с тремя, а кое-где и четырьмя, рядами бойниц. Над ее зубцами кувыркались ласточки, еще не успевшие отправиться в дальние страны.

С высоты ласточкиного полета было видно, что тридцать восемь башен поставлены идеально: с любой из них просматриваются две соседние. Стоит врагу подойти к стене, он попадает под перекрестный огонь из башенных бойниц. Одна из стен почти вплотную подходила к берегу Днепра. Внутри крепости хватало колодцев, были ручьи, однако случись осада, Днепр не обмелеет.

В это безветренное утро ровная как стекло поверхность реки тоже окрасилась в золотой цвет восходящего солнца.

Со стороны посада, расположенного на другом берегу, доносилась утренняя перекличка собак, из-за невысокой деревянной стены, посад окружавшей, тянулись к небу первые струйки дыма. Узенькая береговая полоска с выступающими из нее то тут, то там деревянными мостками была еще пустынна... Но вот в воротах отворилась окованная железом дверца, показался край голубой одежды, мелькнула ножка в синем сафьяне и к реке вышла девушка. Вышла, огляделась и, убедившись, что кругом никого, тотчас сбросила с головы узорный голубой платок. Каштановые волосы, заплетенные в длинную, до колен, толстую косу и подхваченные расшитой жемчугом лентой, заблестели на солнце, будто шелковые.

Девушка ступила на мосток, дошла до середины и, ловко усевшись на обтесанные бревна, принялась стаскивать сапожки. Сняла один, за ним другой, аккуратно поставила рядком и взялась за края простонародного сарафана, собираясь и его снять. Но тотчас вскинула голову, повела взглядом по краю ближайшей башни.

– Эй! – Ее голос, звонкий, но достаточно низкий, далеко разлетелся округ. – Эй, кто там на страже? Ну-ка отвортитесь!

– А ну как не отворотимся? – послышалось со стены.

– Дядюшке пожалуюсь! Что, вам глазеть не на кого? Отвортитесь, кому сказано!

– Да не глядим мы, не глядим, не бойсь! – задорно отвечал стражник. – Да и что тут разглядишь, с такой-то высоты?

– Что надо, издавеча видать! – отрезала красавица и, не смущаясь, стащила сарафан через голову, оставшись в белой с узорно расшитым подолом сорочке.

Свою головную ленту купальщица тоже сняла и положила рядом с сапожками. Потом встала и, разведя руки, лихо, спрыгнула в воду с мостков в обжигающе холодную сентябрьскую воду.

– Ай-ай, сорочку промочишь! – донеслось сверху.

– Сняла бы лучше!

– Не жаль тебе своих шелков?

– Не тобой дарено! – уже почти с середины реки отозвалась девушка.

Плыла она дивно и необычно: извиваясь всем выточенным телом, опустив лицо в воду и далеко загребая вытянутыми ладонями, Получалось удивительно резво, словно у речной русалки, и в воде оставался скорый пенный след. Катя доплыла почти до моста, соединяющего два берега, крепость и посад, перекувыркнулась на спину и на некоторое время, застыв, отдалась во власть течения, наслаждаясь утренним холодом воды и ее мощью. Как легко несет Днепр ее тело! Найдется ли кто, чтоб когда-нибудь вот так же носить ее на руках?..

Что ж за мысли? Али уже не нашелся?

– Катя! – это кричали уже с берега. – Ка-атя!

Она погрузилась в воду с головой, вынырнула, развернулась и, не без усилия одолевая течение, поплыла назад. На лице еще ярче разгорелся румянец. Хотя и быстрым был Днепр, но в этом месте пока еще неширок, и редкие по утреннему времени птицы легко долетали до его середины и летели дальше по своим птичьим делам...

– Чего кричишь?

– Как не кричать-то, ты ж туда заплыла, откуда и лодки сносит! Потонуть ведь можешь!

– Лодки сносит, а меня не снесет!

– Страху в тебе нет!

На мостке, возле синих сафьяновых, прошитых серебряной нитью сапожек топтался мужчина лет тридцати, одетый в темный, скромно, но красиво расшитый кафтан и сапоги с лихо загнутыми вверх носками. Он и сам был ладен, под стать своей щеголеватой одежде – высокий, русоволосый, с лицом, обведенным узенькой полоской очень коротко подстриженной бороды. Волосы были тоже довольно короткими и красиво вились над высоким открытым лбом. Суконную, отороченную соболем шапку молодой человек снял и держал в руке.

Купальщица доплыла до того места, где, как она знала, уже можно было достать ногами дно, и встала. Над водой показались ее круглые плечи, облитые белым шелком, мокрым, а оттого почти совсем прозрачным.

– Отворотись, Андрейко! – повелительно проговорила девушка.

– Ты же в сорочке! – Он улыбнулся, глядя на нее с нескрываемым восторгом. – Сколько раз мы с тобой в детстве вместе купались...

– Вспомни еще, как под столом в витязя и Полкана³⁴ играли! Тебе, кажется, восемь было, а мне четыре... А ныне ты не будешь глядеть на то, на что не позволено. Отворотись, не то пожалеешь.

Но Андрею стало, должно быть, обидно – слишком уж повелительно звучал ее голос. Он подступил вплотную к краю мостка и, все так же широко улыбаясь, спросил:

– А что ты сделаешь? Михаилу пожалуешься? Так он тебя же и заругает: видано ли дело, чтоб девица одна на реку ходила да на виду стражи в одной рубашке плавала?

– Миша знает, что я купаться хожу. – Теперь Катерина говорила мягко и весело. – А жаловаться мне нужды нет. И так обойдусь!

С этими словами красавица вновь окунулась и саженками подплыла к мосткам. Здесь тоже было глубоко – когда Катерина коснулась ногами дна, Андрей вновь увидел лишь ее плечи да чуть выступившие из воды полукружия грудей. Все остальное смутно угадывалось сквозь зеленоватое зеркало воды, на которой плясали и переливались блики все выше восходящего солнца.

Катя коснулась руками края мостков, загадочно улыбаясь, посмотрела снизу вверх на Андрея. И вдруг правой рукой ухватила за ногу. Он не успел опомниться, как девушка с мужской силой дернула его на себя. Мужчина ахнул, взмахнул руками и с головой кувырнулся в воду как был – одетый, в сапогах и с шапкой в руках.

– А, чтоб тебя!.. Ну ведьма, Катька!

³⁴ Полкан — сказочный богатырь, получеловек-полупес. Позднее на русских лубках стал обычным кентавром.

Андрей барахтался возле мостков, отплеываясь, потом с трудом выловил из воды свою шапку – ее едва не унесло течением.

В это же время Катерина ловко поднырнула под бревна мостков, подтянулась с другой стороны и, взобравшись на них, набросила на плечи свой голубой узорный платок. Когда она встала, платок скрыл ее почти до пят; девушка, покуда ее знакомец выбирался из воды, отвернулась и под укрывшей ее тканью проворно отжала на себе сорочку. Потом, закутавшись, села на край настила и без смущения по щиколотку окунула в речные струи голые ноги.

Андрей вернулся на мостки, кряхтя стащил мокрый кафтан и тоже попытался его отжать. Но добротное сукно, в отличие от шелка, после этого осталось таким же мокрым.

– Ну и почто ты это сделала? – с обидой спросил мужчина, тоже усаживаясь и пытаясь вылезти из сапог, полных воды до краев голенищ. – Знаешь ведь, я бы пошутил-пошутил да и отвернулся, как ты того хотела... За что потешаешься, Катя?

Девушка повернула к нему голову и проговорила уже почти смущенно, ласково:

– Я не потешаюсь над тобой, Андреюшка... Ты – друг мне, а над другом потешаться – грех. Просто не люблю, когда мной командуют.

Андрей вздохнул, справившись наконец с одним из сапогов и принимаясь за второй.

– Как же ты замуж-то за меня пойдешь? – спросил он. – Жена ведь мужа во всем слушаться должна.

– Вот когда под венец пойдем, тогда и требуй, чтоб слушалась! – Она повела плечом под голубой парчою. – Да и то меру знай. Я, слышь, читала в гиштории про женщин, что в Европе прославились. Так иные из них сами мужчинам приказывали, и те повиновались. Вот Иоанна д'Арк – целое войско ей подчинялось.

– Ну так ее потом на костре и сожгли, – напомнил Андрей.

– Мужики и сожгли, ироды, – не потерялась Катерина. – Или вот королева такая была, Алинора Английская³⁵. Красавица была невиданная, короли, принцы, рыцари к ней один за другим сватались. Она вышла сперва за французского короля и с ним вместе в Крестовый поход пошла – Гроб Господень освободить. Как рыцарь верхом скакала, в доспехах, в шлеме... Как Иоанна д'Арк... А когда после король ей изменять стал – поехала в Рим, где у них главный архиерей правит, римский папа, и убедила развести ее с изменщиком. И после английской королевой стала.

– Но что в том хорошего? – Андрей положил сапоги так, чтобы в них попадало как можно больше солнечных лучей, расстелил на досках кафтан и придвинулся к девушке. – Разве можно жене супротив мужа идти? Женщине все одно покорствовать положено.

Катя кинула на парня быстрый, колкий взгляд и насмешливо воскликнула:

– Так вот веками и покорствуем! Живем, будто в стоячей воде, – ничего не меняется. В Европе-то все по-иному.

– Больно ты много знаешь об этой Европе... – У Андрея не получалось рассердиться на Катерину. – Может, там и ничего хорошего.

Они сидели теперь почти вплотную друг к другу, но мужчина не решался обнять девушку за плечи. Как-то она и сама опустила руки ему на плечи, потом обвила его шею... Отчего же он в тот раз ее не поцеловал? А на другой день Катерина сделалась совсем другая: была насмешлива, неуловима – за руку взял, и то отняла... Такая уж она, боярышня Катерина Шеина, с ней никогда не знаешь, как говорить, никогда не угадаешь, чего она сейчас хочет.

– Я люблю тебя, Катя! – шепнул, наклонившись к ее уху, Андрей. – Отчего ж не хочешь, чтоб я сватов к дяде твоему заслал?

³⁵ Элеонора, или Алиенора Аквитанская (1122–1204) – королева Франции, жена Людовика VII, затем королева Англии, мать Ричарда Львиное Сердце. Одна из самых образованных и знаменитых женщин европейского Средневековья.

Девушка обернула к нему лицо, залитое свежим румянцем, тронутое загаром – она никогда не пряталась от солнца, не боялась испортить белизну кожи. Никогда не загорал только маленький белый шрамик на левой скуле, который ее лицо совершенно не портил.

– Время ли сейчас? – Катя говорила серьезно, почти печально. – Дядюшка говорит, вот война будет. Да и все уж про то говорят. Идет на нас войско короля Сигизмунда, значит, быть сече, быть крови. Ляхи на Смоленск нападут, а мы с тобой под венец?

– Одно другому не мешает. – Андрей коснулся ее плеча. – Да и не пойму я тебя, Катеринушка: ты ж любишь Европу эту самую и жить бы хотела, как они там живут. Так что ж боишься польского нашествия? По-твоему, выходит, что пускай бы они нас и захватили!

– А вот это нет! – поспешно ответила Катерина, и в карих ее глазах, и без того полных солнечного блеска, загорелся огонь. – Кто ж это смеет нас захватывать?! Я б хотела, чтоб мы сами научились жить по-иному, а не чтобы нас кто-то учил... Да и не люблю я ляхов.

– Такие же европейцы, как французы твои любимые али немцы! – насмешливо напомнил Андрей.

– Не такие! – Девушка нахмурилась. – Во-первых, они с нами одного племени – славяне, стало быть, и все наши причуды славянские в них тоже есть. Да и вообще... Я их всего раза три и видала, но заметила, что уж больно они чванливые. Будто им все кругом должны, да отдавать не хотят.

Такие разговоры возникали между молодыми людьми часто и длиться могли подолгу. Но в этот раз в воротах вновь заскрипела дверца, и показавшийся в проеме человек крикнул:

– Дедюшин! Андрей Савельич! Воевода зовет!

Андрей с неохотой поднялся и, насупившись, посмотрел на мокрый кафтан и мокрые сапоги:

– Вот что ты натворила! Как я к начальству пойду? В сапоги как влезу?

– Надень мои! – Она кивнула на аккуратно стоявшие рядом сафьяновые сапожки. – Они сухие. Если только жать маленько будут.

Андрей, не отвечая, обулся в свое и, подхватив кафтан, ушел под разливы звонкого девичьего смеха.

Катерина вновь повернулась лицом к посаду, раскинувшемуся на другом берегу, пощупала на груди сорочку и, убедившись, что та подсохла и уже не будет просвечивать, движением плеч скинула платок. Солнце поднялось достаточно высоко, стало греть, и влажная ткань постепенно отстала от тела, хотя все еще холодила грудь, спину и бедра.

– Что, Катеринушка? – донесся голос караульного со стены. – Спроведила друга сердечного, чтоб сохнуть не мешал?

Катя, не отвечая, встала, закинула руки за голову и прогнулась так, что ее распавшаяся влажная коса почти коснулась мостков.

Оба караульных невольно перевесились через парапет башни. Девушка была далеко от них, но солнце насквозь пронизывало белый шелк рубашки, очертив контур стройного, сильного тела.

– Ах ты, хороша, – выдохнул один из смотревших. – То-то Дедюшин этак вокруг нее увивается.

– Да не про него она, – возразил другой караульный, постарше. – Он ровный, мягкий, а эта егоза – что твой еж: тронешь, не обрадуешься. С ней только воевода управляться и может. Да и то, не будь воевода ей заместо отца, еще неизвестно, слушалась бы его али нет.

– Михайло Борисовича да не послушаться? – Младший даже присвистнул. – Вот уж не знаю, кто б и смог...

Девушка надела сарафан, переплела косу, обхватила лоб лентой, ловко, не садясь, обулась. Потом набросила на голову платок, помахала рукой караульным и пошла в крепость.

Миновав площадь с раскинутыми на ней ярмарочными рядами, Катерина прошла мимо стрелецкой слободы, мимо пороховых и оружейных мастерских, в которых последние недели было особенно оживленно – скрип жерновов и перестук молотов раздавались с раннего утра до глубокой ночи.

Главная улица делила землю, окруженную крепостными стенами, строго на две части и вела на запад – это был тракт, ведущий из Москвы в Польшу. Нет, недаром Смоленск называли Ключ-город.

Ранняя литургия в церкви Успения Богородицы уже началась, и в храме былолюдно. Вблизи алтаря группой толпились стрельцы и несколько кузнецов-оружейников с изъеденными копотью лицами, но дочиста отмытыми руками. Смоленские дворяне с женами и детьми, семей шесть-семь. И посадские тоже пришли – ремесленники, купцы. На посаде свои церкви есть, да иные любили именно этот храм, любили проникновенные проповеди отца Сергия. Вот и ходили сюда. Несколько высоких дворянок, у которых мужья, видно, с утра при делах, пришли с дочерьми и с их мамушками и стояли в своих соболях, точно и не сентябрь на дворе. Стоят, глаза потупили, скромницы, а каблучки-то на башмачках небось такие, что едва пальчики до земли дотягиваются!

«Вот опять! – попрекнула себя в душе Катерина. – Сколько я уж каялась батюшке, что вечно сужу людей, осуждаю... А все гляжу на других да думаю: почему они делают не так, как мне бы хотелось?»

Катя перекрестилась и принялась молиться. Пение церковного хора, возгласы дьякона, слова священника доходили до ее слуха будто бы издали. Она погружена была в свои мысли... а мысли были об Андрее Дедюшине, с которым она (в который уж раз!) обошлась столь насмешливо.

«Помоги мне, Дево Богородице! – одними губами шептала Катерина. – Я ведь люблю Андрея. С самого малолетства знаю его, и он мне всегда другом был. А уж как он меня любит! Но отчего-то я его все мучаю... Уж давно пора сказать: „Засылай сватов!“, но вот все медлю да медлю. С чего? И лет мне уже ой как много – двадцать пять на прошлом месяце сравнялось, девки, с которыми прежде в салки играла, уж по трое-четверо детишек имеют. Скоро на меня никто и не посмотрит – стара стану. И кого же мне желать, кроме как Андреюшку? А что-то колет и колет сердце, будто заноза какая... Помоги, Матушка! Дай сил разобраться, понять, суженый он мне али нет? И если нет, то ждать ли суженого или, может, судьба мне в монастырь идти?»

Но при одной этой мысли душа девушки взбунтовалась, и Катерина испугалась, представив себя в черной одежде и в клобуке.

«Да какая ж из меня монахиня? – подумала она. – Сама себя то Иоанной д'Арк воображаю, то этой самой Алинорой, да вдруг в монастырь пойду?.. Но разве ж замуж идти не почти то же самое? Все одно уж не видать свободы! Ну почему ж все так заведено, почему?!»

И она вновь принялась молиться, изредка замечая, что вновь приходившие в церковь люди кланяются ей, и отвечая таким же поклоном. Иногда девушке мерещилось во взглядах скрытое осуждение: вот, мол, боярышня, а одна ходит – ни мамушек с собой не взяла, ни, хотя бы для виду, девку сенную не прихватила...

Служба закончилась.

Она вышла из притвора, низко поклонилась образу Богородицы над церковными дверьми... Повернулась – и увидела старуху-нищенку с деревянной плошкой. Нищих на паперти было несколько, но эта старуха выделялась своей улыбкой: она улыбалась как младенец совершенно беззубым ртом и с ясным, счастливым взором голубых младенческих глаз.

Катя вынула из висевшего на ее руке бархатного кошелечка медяк, опустила в старухину плошку. Нищенка еще сильнее разулыбалась, осенила Катерину крестным знамением и воскликнула звонким, девическим голосом:

– Поспеши, милая, поспеши! Жених ждет!

Отчего-то эти слова ошеломили Катю. Ее будто захлестнуло волной радости, какого-то непонятного, светлого предчувствия.

– Какой еще жених... – прошептала она. – Андрей-то? Так он меня всегда ждет, чего ради спешить?..

Но при этом она почти бежала вверх по улице, даже подол сарафана подхватила выше, чем то позволяла пристойность: сафьяновые сапожки стали видны целиком, даже белые полоски голых лодыжек мелькали порой над ними.

Письмо Артура Роквелля

Влетев в палаты смоленского воеводы, девушка снова поступила «не как положено» – пошла не на свою половину, а напрямик в покои дяди. Она знала, что Михайло Борисович может быть этим недоволен, однако, как обычно, только нахмурится и вздохнет.

Поднимаясь по узкой лестнице на второй этаж, Катерина услышала голоса. Говорили двое – Михаил и еще кто-то. Впрочем, другой голос она тотчас узнала. То был старший сокольничий воеводы и по совместительству губной староста Смоленска – Лаврентий Логачев. Он пользовался прочным доверием Шеина, был вхож к нему во всякое время. Многие в Смоленске дивились: отчего строгий воевода оделяет таким доверием этого невзрачного, неречистого человека, не то простодушного, не то, наоборот, хитрого... Впрочем, Катерине Лаврушка нравился. Не внешностью, конечно: был Логачев лыс, как коленка, а на глазах почти всегда носил круглые стеклышки. Но лишнего не скажет, вопросов глупых не задает, не подбодрит, как иные, и не нагл, как некоторые. При этом каким-то невероятным образом он умудрялся знать все и обо всех, как в самом Смоленске, так и по округе. И все, что он узнавал, неизменно доходило до воеводы.

Замедлив шаг, девушка невольно (а может, и нарочно) подслушала их разговор.

– Не скажи! Хуже, чем кость в горле Ключ-город для Сигизмунда, хуже. Точно ли по Витебской дороге идет? – спрашивал Шеин, видимо, шагая по горнице взад-вперед – его голос звучал то громче, то тише. – Все войско по одной дороге?

– Вся рать королевская, – ответил Логачев. – Не сомневайся, Михайло Борисович, не сомневайся! Мои соколы далеко летают и все видят.

Михаил весело фыркнул:

– Хорошие у тебя соколы, Лаврушка, говорящие. Ну и что они еще рассказали?

– Рассказали, что первым к Смоленску прибудет канцлер литовский Лев Сапега. А сам король с гетманом Жолкевским на день отстают... Но здесь все будут. Воинских людишек у них двенадцать или тринадцать тысяч. Еще казаки на подходе, тысячонок десять. Эти не бог весть какие бойцы – строя не знают, никого не слушаются, но для осады сгодятся.

– Значит, и ты думаешь, что осады не миновать? – быстро спросил Михаил.

– Приступом-то им нас не взять, Михайло Борисович!

– А знает Сигизмунд, что из четырех стрелецких приказов в крепости один остался?

– Уверен, что знает.

– Да ты никак?..

– Что ты, воевода, побойся Бога! Что ж, я переметчик, что ль? О таких вещах по-всякому становится известно.

– Думаешь, клюнет Сигизмунд?

– Должен!

– Ах, риск велик... Пока ж наших будет один на десять, если их казаков и наших обученных посадских не считать... Городовых дворян почти пять сот, да приказ стрелецкий четыре ста. Пушкари, затинщики, посадская стража...

– До зимы, как ты говорил, продержимся, Михайло Борисович. Это запросто.

– Кабы боле не пришлось, Лаврентий... Людей мало. До тебя у меня Дедюшин был – я ему приказал волости потрясти, пока время есть. Что-то дворянское ополчение задами к имениям поприрастало, будто войны давно не было. Кстати, часом не знаешь, чегой-то Андрей Савельич весь мокрый, словно кот из колодца вылез?

Логачев развел руками, виновато сверкнув очочками³⁶.

³⁶ Очки появились в XIII веке в Италии. Сначала они были только от дальнозоркости, а с XVI века – и от близорукости.

Михаил вдруг умолк, потом возвысил голос:

– А ты, Катя, не знаешь? Вошла бы ты уже! Али думаешь, я не слышал, как твои сапожки по ступенькам простучали? Подслушивать-то зачем?

– Я не подслушивала, Миша! Как Бог свят, только-только поднялась, дух переводила. Да поди пойми чего из вашего военного разговора...

Катерина вбежала в просторную горницу, освещенную утренним солнцем, свободно входившим через открытые окна.

Они с Михаилом очень походили друг на друга, хотя на первый взгляд казались разными. У Кати волосы были каштановые, а у воеводы светлые, как зрелые пшеничные колосья. Однако и у него и у нее в волосах блистало золото, а глаза были совсем одинаковые – карие с солнечными искрами, которые у него делались ярче, когда он злился, а у нее – когда она радовалась. Оба вышли рослыми, шеинской породы, при этом Катерина все равно была Михаилу только по плечо.

– Мишенька, неужто ляхи и впрямь уже идут на нас? – Голос Кати невольно дрогнул.

– А ты надеялась, Сигизмунд передумает? – С ласковой усмешкой воевода легко поднял ее и поцеловал в лоб. – С переходами да остановками через три-четыре дня здесь он уже будет... Так, Лаврушка?

– А как иначе? – с показным простодушием развел руками вездесущий сокольничий. – Шли бы немцы, так в два дня были б – у них, как у римлянских легионеров, все споро да скоро. А ляхи, извиняюсь, не покушавши да не проспавшись, в поход не выступят. Времечко-то у нас в самом деле есть, да не ахти какое!

– И что же теперь? – Овладев собой, Катя даже улыбнулась. – Я слыхала, нас вдесятеро меньше будет, чем ляхов...

– Ну, это Сигизмунд пусть так считает. Всего-то ему не ведомо. Нам только лучше – пусть задачку – крепостишку-то взять – полагает легонькой, на один зубок! – Михаил ответил на улыбку племянницы такой же улыбкой, но его глаза оставались серьезны. – Чем больше они положат голов под нашими стенами, тем государю Василию легче будет Москву от них оборонить... Ты ведь не боишься, Катеринушка?

– Кто? – Девушка задорно вздернула свои смоляные брови. – Я-то? Да когда ж я боялась-то, Миша?

Лаврентий смотрел на них и улыбался в свою негустую, рыжеватую с проседью бороду. Ему, как и многим во граде Смоленске, очень нравилась племянница воеводы, однако же он отлично понимал, что ягодка эта не про его лукошко, и просто любовался ею, ничуть не завидуя Дедюшину. Впрочем, проницательный Лаврушка догадывался, что завидовать «Андреюшке» особо и нечего.

– Воевода! Михайло Борисович!

Крик донесся с лестницы, и почти тотчас в комнату ввалились, толкая и отпихивая один другого, двое стрельцов.

– Что такое? – Шеин слегка отстранил прильнувшую к нему племянницу. – С чего крик?

– Ляха поймали, воевода, литовского человека! – завопил один из стрельцов. – Пер по дороге, точно за ним лешие гнались! Через одну заставу прорвался, окаянный, а на другой едва скрутили!

– Хороши у тебя, Мокей, стало быть, караульные на заставах, что один лях прорвать может! – отрезал Шеин. – А с чего вы взяли, что это лях?

– Так ведь, воевода, на нем и справа вся польская, и конь в польской сбруе. Кто ж, как не лях? Но по-нашему разумеет. К тебе вести требует. Но мы и сами б к тебе привели лазутчика...

– Не скажи, лазутчик прямо на заставу не пер бы, – ухмыльнулся Шеин. – А на вторую подряд тем паче. И уж точно не отправился бы в разведку в польском платье... Ладно, разберусь. Давайте его сюда!

После отчаянной возни на лестнице перед воеводой возник рослый человек в висевшем на нем мешком голубом польском жупане, со связанными за спиной руками и с нахлобученным на голову стрелецким алым колпаком. Его умудрились натянуть до кончика носа, так что оставался виден лишь бритый подбородок.

– Вот он, супостат! – рявкнул стрелец, ранее доложивший Шеину о поимке лазутчика. – Стой, пес неправославный, стой! Хотел к воеводе, вот и привели тебя к воеводе, чего ж лягаться да бодаешься?

– Это кто тут неправославный?! – прогнусавил из-под колпака пленник. – Не обзывайся, не разобравшись!

– Замолчали оба! – приказал Шеин, приблизившись к стрельцам и их добыче. – И у кого ж из вас, ребята, башка-то такая здоровенная? Давай, головастый, снимай с парня свою шапку, не то растянется и носить не сможешь.

Стрелец потянул за верхушку колпака.

– Нос мне оторвешь, ирод! – завопил пленник.

Стоявшие в сторонке Логачев и Катерина с любопытством наблюдали за происходящим. Кате лишь до поры удавалось сдерживать смех. Когда воины уже вдвоем принялись стаскивать колпак с головы «лазутчика», а тот, взыв от боли, начал крыть их в самых виртуозных выражениях, девушка залилась хохотом, прикрыв лицо рукой.

– Поди-ка отсюда, Катерина! – обернулся к ней воевода.

– Как же я выйду, когда они всю дверь перегородили? – возразила Катя. – А что бранятся, так нешто я брани не слышала – чай, при крепостях да заставах всю жизнь.

– Прошу прощения! – прогундело из-под шапки. – Я ж не знал, что тут женщина. А-а-а, ухо мое, ухо! Развяжете, убью ведь!

– Вот так лазутчик! – ахнул пораженный Михаил Шеин, когда колпак наконец поддался. – Гришка! Колдырев! Никак ты?!

– Еще как я! – торжествующе улыбнулся тот. – Здравствуй, воевода!.. Только вот обнять тебя не могу.

– Развязать! – скомандовал Шеин ошарашенным стрельцам. – Этого «поляка» я много лет знаю. Это ж Дмитрия Станиславовича, старого воеводы сын, можно сказать, приятель мой... Давайте-давайте, развязывайте, а то он за вашу «ласку» точно кому в ухо даст...

Но Григорий вдруг разом растерял свою злость. Причиной тому был нечаянный взгляд, который он кинул через плечо Михаила. Платок соскользнул на плечи Катерины, и солнце, освещавшее девушку сзади, обвело золотом ее голову. Она встретила с Григорием глазами, неожиданно залилась краской, что с нею случалось редко, и уже без приказа Шеина поспешно выскользнула из комнаты. Григорий же принялся растирать занемевшие руки.

– А теперь, – проговорил Михаил, – скажи мне наконец, с чего ты ко мне так вот заявился? По-человечески нельзя было?

– Нельзя. – Колдырев прямо посмотрел в глаза воеводе. – Не все ж меня здесь, как ты, знают. Могли задержать, могли к кому-то другому отвести, не прямо к тебе. А время дорого.

– Почему?

Григорий оглянулся на стрельцов и Логачева:

– С глазу на глаз надо бы поговорить, Михайло Борисович.

– Ладно. – Шеин махнул рукой стрельцам. – Ступайте, братцы. А тебя, Лаврентий, я попрошу остаться. Ну так что за пожар?

– Ляхи на Смоленск идут! – выдохнул Григорий.

– Эка невидаль, – усмехнулся Михаил. – Это уж вся округа знает – вон, крестьяне села покидают. Смотри...

Шеин достал из-за пазухи книжечку со своими записями, полистал.

– Ждали Сигизмунда под Смоленском к Спасову дню³⁷, а как Спасов миновал, Лаврентий доложил, что к Оспожнему дню³⁸ объявится... Как этот мерзавец войну нам объявил, очередной наш «Вечный мир» с Польшей порвал, так все отслеживается, Гриша.

– Пятнадцатого сентября он будет – выпалил Григорий. – На Никиту Бесогона.

– Думаю, шестнадцатого, – уточнил Лаврентий. – И сперва Лев Сапега подойдет, а потом уж король.

– Не с этим же ты очертя голову пер, сквозь заставы ломился? – спросил Шеин.

– Ну... И с этим тоже, конечно... Хорошо, что знаете... Но... Ехал я сообщить, что у тебя, господин воевода, в подвалах крыса завелась.

– Кто? – изумился Шеин.

– Крыса. Немцы так говорят, да и нам, похоже, сие выражение понадобится.

Теперь уж Колдырев запустил руку под жупан, под рубаху и вытащил сильно помятый свиток.

– Вот. Я возвращался в Россию. Ехал через Оршу. Там вышел случай, до которого шас дела нет. Но только при одном негодяе-поляке... покойнике... оказалось вот это письмо.

Григорий принялся разворачивать свиток, но из него тут же выпал другой.

– Тьфу ты, я и забыл! – Колдырев поспешно поднял бумагу. – Это я для сохранности одно письмо в другое завернул. А это как раз послание, которое вез поляк. И не от кого-то, а от короля Сигизмунда Третьего Вазы.

– Дай! – Шеин пробежал письмо глазами и протянул Логачеву.

– Глянь-ка, Лаврушка.

– «Милостивый государь! – стал вслух читать Лаврентий. – Все еще с надеждою и нетерпением ждем обещанного Вами плана подземелий крепости С., коий Вы обещали выслать...»

Сокольничий запнулся и дальше читал молча; лицо его, как и лицо Шеина, делалось все более напряженным.

– Кто? – Воевода уперся взором в лицо Логачева. – Кто может быть этой крысой, а, Лаврушка?

Тот сверкнул очками:

– Знал бы – переметчик бы у меня в подвале на дыбе висел. А кто... Полный план крепости может составить любой стрелец. Но вряд ли это имеет в виду Сигизмунд. Сколько иностранцев через Смоленск проезжало и кем они на самом деле были – Бог весть. Думаю, речь о тех внешних укреплениях, что ты этим летом ставил. Вот это действительно тайна. Полный список всех, кто доступ имел, сей же час представлю.

– Таких немного, – сдвинув брови, кивнул Шеин. – Хотя, судя по этому письму, плана у короля пока нет.

– Если письмо было одно. И если это попало к нам случайно.

– Да нет, пожалуй... Слишком сложно.

– А я бы проверил.

– Твоя воля. Действуй.

Логачев шагнул было к двери, но вдруг обернулся и, глядя прямо в глаза недавнему пленнику, спросил:

– А что за второе письмо у тебя, боярин? Взглянуть нельзя ли?

Колдырев протянул свиток, который перед тем небрежно сунул за пазуху.

– Только это ничего не значащая писушка, весточка от англичанина, с которым я от Посольского приказа ездил, его другу московскому.

³⁷ 9 августа.

³⁸ 11 сентября.

– Говоришь не значащая, пусть так оно и будет, Григорий Дмитриевич. – Логачев улыбнулся как-то особенно ласково, – Только мне любопытно стало, отчего на сем свитке углем да по-латыни слово «Смоленск» начертано?

– А! – Колдырев рассмеялся. – Это и вовсе не к делу. Это я девице одной объяснить пытался, откуда родом. Польке одной.

Он помолчал и зачем-то добавил:

– Крысе.

Шеин удивленно взглянул на него. Григорий совсем смешался:

– Так ее звали. Крыштина, наверное.

Лаврентий между тем развернул письмо и впился в него взглядом.

– Хм! Еще более любопытно...

– Что еще-то? – не понял Григорий. – Ничего особенного. Ты по-английски говоришь?

– Что ты, боярин! – замотал головой Логачев. – Откуда мне знать такие премудрости? Просто гляжу: здесь то же самое написано, что и с другой стороны.

Логачев поймал обращенные на него недоуменные взгляды и, снова развернув письмо, показал его Михаилу:

– По-аглицки читаешь, воевода?

– А то ты не знаешь. Нет, конечно.

– Ну, так пускай Гриша нам прочтет. Не по-нашему, а по-ихнему. Прочти, сделай милость!

Воевода кивнул, и Григорий, пожав плечами, стал читать:

«Such a rare and long-awaited opportunity to send a message to you!

My dearest friend, don't worry about me, it seems all my troubles and misadventures are over now.

Other people here are so kind, I'll never forget their helping hands and generous hearts.

Let me believe, this letter finds you well.

Every time I remember your cordiality I want to thank you so much for the help and advice you have shared with me in the past.

Now I want to say that you were absolutely right, a picture paints a thousand words.

Sapienty sat, but Lord, why do we have such a hard time growing wise?

Keep healthy and be happy, my precious friend...»

Колдырев читал по-английски про себя, а вслух – сразу же переводил.

– Ну вот, – свернул он свиток – сушая безделица.

– Вот-вот! – Лаврентий быстро потер лысину рукой туда-сюда, как нередко делал, озабоченный важной мыслью. – И я-то думаю: с чего это англичанин просит везти в Москву письмо с такой-то безделицей? Попросил бы на словах поклон передать, да еще то-то и се-то добавить. Ан нет!.. Глянь еще раз на бумажку-то, боярин Григорий. Ничего не примечаешь?

– Нет, – уже в полном недоумении ответил Колдырев.

– Михайло Борисович, а ты глянь-ка?

Шеин посмотрел на строки письма, вгляделся, прищурился – и вдруг ахнул:

– Вот так штука!

– То-то, – весомо сказал Лаврентий. – Григорий Дмитриевич, видно, не уразумел, потому как язык сей знает и читает на нем. А мне-то и тебе, воевода, легче: мы просто буквы видим, закорючки нерусские.

– Мне кто-нибудь объяснит, что вы там такое видите? – почти возмущенно воскликнул Колдырев.

Воевода чуть помедлил, будто бы сомневаясь, но потом все же протянул ему бумагу:

- Посмотри внимательно, Григорий. Смотри на буквы, с коих предложения начинаются. Колдырев вслед за воеводой не удержался от изумленного возгласа. SMOLENSK!
- А это как ты объяснишь, Гриша? – негромко спросил Шеин.

Посадский голова (1609. Сентябрь)

«А что же это я? Столько раз бывал в Смоленске, с воеводой встречался и в Москве, и здесь. Не раз с ним беседовал, а племянницу его вроде в первый раз сегодня увидал...»

С этой мыслью Григорий проснулся.

Странно, что первой была мысль об этой освещенной солнцем девушке, которая сразу и убежала, а не о той мучительной загадке с письмом англичанина, которую они, как ни бились, распутать не смогли. А может, и не странно...

Шеина Григорий действительно знал хорошо. Познакомился лет пять назад, когда Михаил, уже известный и заслуженный, несмотря на молодость, воин, служил в чине окольного в Москве. В году тысяча шестьсот седьмом от Рождества Христова Шеин, показавший немалую отвагу в государевом походе³⁹, получил назначение воеводой в Смоленск. После Колдырев-младший успел не раз побывать в гостях у отца, ездил из Сущева в город и виделся с Михаилом. Тот бывал ему неизменно рад – что-то нравилось воеводе в щеголеватом молодом придворном, к тому же он глубоко уважал старика Колдырева.

О том, что у Михаила живет племянница, Гриша слыхал, и не раз. Но видеть ее и впрямь не видел – такую красавицу приметил бы уж наверняка.

Около постели он обнаружил сложенную на лавке свежую одежду. «Явно своим платьем воевода поделился», – думал Гриша, вдеваясь в новенькую синюю рубашу с расшитым воротом и рукавами, натягивая нарядные штаны и кафтан темного сукна. Плечи ему были широковаты, а кафтан длинен. Он привык следить за внешностью, а в последнее время что-то вся одежда ему доставалась великовата – то от неизвестного польского десятника, то от московского боярина на смоленском воеводстве.

– А где воевода, служивый? – спросил Григорий, выходя из нижней горницы, у стрельца – из тех самых, что совсем недавно приволокли его скрученным пряником к Шеину.

Стрелец легонько попятился, возможно, памятуя про возможность получить за обиды от недавнего пленника «в ухо», но гость явно был настроен дружелюбно.

– На стене, где же ему быть, – сообщил воин. – Михайло Борисович весь день крепость обходят. Сперва все подвалы да погреба проверяли, а ныне как раз на стены пошли. Говорили, закончат обход на Фроловской башне.

– Мне туда можно? – встрепнулся Григорий.

– А с чего ж нельзя? Раз у воеводы к тебе доверие.

Колдыреву повезло, что ему сразу указали, к какой именно из башен направился Шеин со своими помощниками, не то он мог бы долго блуждать вдоль стен красного кирпича.

Мальчишкой он не раз приезжал с отцом наблюдать за грандиозными работами. На строительство со всей страны сзывались каменщики, кирпичники, гончары; вокруг будущей крепости заработали кирпичные мастерские; камень и известь свозили в Смоленск отовсюду...

Деревянная, дубовая крепость в Смоленске существовала еще при Иване Грозном, но в тысяча пятьсот пятьдесят четвертом году сгорела дотла, и решено было возвести крепость каменную. Да какую! Дмитрий Станиславович с самого начала говорил, что это будет «всем твердыням твердыня»... Для создания крепости из столицы приехал главный московский зодчий Федор Конь⁴⁰. И сделал все, дабы новая твердыня стала неприступной.

³⁹ Поход войска под командованием Василия Шуйского на Тулу, ставшую оплотом повстанцев под предводительством Ивана Болотникова. Поход начался в мае 1607 года и после ряда успешных для царских войск сражений завершился в октябре того же года взятием Тулы.

⁴⁰ *Конь Федор Савельевич* — выдающийся русский зодчий второй половины XVI века. Строитель крепостных сооружений – каменных стен и башен Белого города Москвы (1585–1593) и Смоленской крепости (1586–1602).

Основание стен уходило в землю на две сажени⁴¹. Верх стены поднимались где на шесть, где на семь, а где и на девять саженей. Толщина же стен... Григорий сам не видел, но много раз слышал, что Годунов, принимая крепость, объехал всю крепость на тройке – поверху!

Тридцать восемь могучих башен, поровну круглых и четырехугольных, венчали стену длиною в шесть с половиной верст. Высочайшая из башен находилась над Фроловскими воротами, к которым вел мост через Днепр, и служила как бы парадным въездом в Московское царство. Была построена она по образу и подобию Фроловской башни Московского Кремля, получившей в народе название Спасской. Завершалась башня смотровой вышкой о четырех каменных столбах, прозванной смолянами «чердачком». И уж над ней в небе парил большой двуглавый орел.

Орел был черный, с позлащенными коронами, скипетром и державой. А сама крепость была красной и белой – по цветам кирпича и белого камня, из которых сложена. Кое-где прясла⁴² и башни белили, добиваясь удачного сочетания двух цветов. Красива была крепость! После окончания строительства польским и литовским торговым людям запретили въезд в Россию кроме как через Смоленск. Смотрите, паны, удивляйтесь, запоминайте да рассказывайте потом – какова она, современная Россия.

Но все это видимое великолепие содержало в себе ряд совсем не бросающихся в глаза вещей, которые, собственно, и делали твердыню неприступной. Вот, скажем, соотношение вышины, толщины и длины стен. Их вроде можно было б сделать и повыше. И зачем было огораживать красной стеной луга и овраги, которые по-прежнему занимали большую часть Смоленской крепости?

Вот только – сколько неприступных твердынь со славной историей и с уходящими в небеса отвесными стенами бездарно пали по всей Европе, когда вражеская артиллерия начала бить по одному участку? Один пролом сразу рушил всю оборону, и пятачок внутри крепости немедленно заполнялся чужими солдатами. В Смоленске так быть не могло. Если бы врагу и удалось пробить осадными орудиями брешь, это, конечно, осложнило б положение осажденных, но роковых последствий бы не имело. Жолнеров и ландскнехтов у пролома встретят переброшенные сюда стрельцы, а со стен и башен врага на подходе будут все так же поливать ядрами и свинцом. Еще попробуй доберись через огненный вал до этой окутанной кирпичной пылью и пороховым дымом дыры. А проделать сразу несколько таких дыр – никакого пороху не хватит.

Высота стен в качестве главного преимущества обороняющихся уступала место их длине, старые европейские города ставили – у кого были деньги – новые стены вокруг старых, и Смоленск тут обгонял свое время. Построенный через сто лет после Московского Кремля, он имел протяженность стен в три раза большую.

Что же до толщины, то тут надобно идти... в глубину. Если бы Григорий не был свидетелем строительных работ, он бы и представить себе не мог, какое это сложное сооружение – смоленская Стена. Не стеночка кирпичная какая-нибудь! В котлован забивались дубовые сваи – а сперва рыли этот самый котлован. Дуб не гниет, напротив, с годами становится прочным, как металл. Выступающие части свай засыпали глиной, трамбовали, в получившуюся площадку забивали новые сваи, а поверх клали врубленные друг в друга бревна и засыпали получившиеся клетки смесью земли и щебня. Дело долгое, трудоемкое, а ведь собственно стена – каменная кладка – еще и не начиналась!

Григорий, конечно, не знал этого тайного правила всех создателей крепостей, а вот государев горододелец Федор Савельевич Петров, прозванный в народе за силу и трудолюбие Конем, следовал ему неукоснительно: защищая других, защищай себя. Подкопаться под такую

⁴¹ *Сажень* — старинная русская мера длины, равнялась 2,13 м.

⁴² *Прясла* — так в русской фортификации назывались участки стен между башнями.

основу, конечно, можно – все возможно в этом свете, – но сделать это незаметно, неслышно... Нет, нельзя!

Дальше под землей шел фундамент из белого камня, составленный, как пирамиды, из больших блоков, и так же сужавшийся кверху. Низ стены тоже был белокаменный, а дальше шла кирпичная кладка. Точнее, две вертикальные – в несколько рядов кирпича – стенки, пространство между которыми заполнено осколками белого камня, булыжниками, битым кирпичом и каменными ядрами, залитыми известью. Все это называлось бутом и гасило удар пушечного ядра. Если бы из пушек удавалось разбить внешнюю кладку... А кирпич, в отличие от камня, крошится, забирая силу удара... Но если бы внешнюю кирпичную оболочку вражеские пушки и сумели пробить, то потом их ядра просто увязали бы в стене.

И это только снаружи она казалась устроенной просто. Снаружи была бело-красная вертикаль, увенчанная прямыми зубцами-мерлонами (на башнях, наоборот, красовались традиционные московские «ласточкины хвосты»), с двускатной крышей в две доски вдоль прясел. Изнутри же стена больше всего напоминала трехэтажный густо населенный дом. У каждой бойницы в толще кладки была выложена своя камера – место для затинщика, стрельца с тяжелой пищалью для стрельбы «из-за тына», или для пушкарей. На второй ярус вели приставные лестницы.

И все это огнестрельное хозяйство перекрывали арки – главный секрет великого мастера. Откуда крестьянский сын Федор Конь знал законы сопротивления материалов неведомо, но только арочные пролеты в стене устроил он вовсе не для красоты. Такая структура гасила пушечные удары еще лучше бутовой смеси.

Уже живя в Москве, Гриша часто слышал, как бывалые полководцы дивятся смоленскому чуду, называя крепость не только лучшей в России, но и в Европе тоже. Однако на все его вопросы касательно нужности столь циклопического сооружения – ведь не только же с этого направления России грозит опасность! – внятного ответа получить он не мог. Все отделялись рассуждениями о «главной опасности, исходящей именно с Запада», об «изменении характера современной войны» и тому подобными излишне мудреными для юного ума фразами... Но ответить внятно никто не смог. И Григорий спрашивать перестал.

Поднявшись на площадку Фроловской башни⁴³, Колдырев действительно застал там воеводу в окружении других воинских начальников. Всего там собралось не менее двадцати человек, но площадка была достаточно просторна.

– Что же, и не спал вовсе, Гриня? – хмуро приветствовал Шеин поднявшегося к нему гостя. – Присоединяйся, что ли... Ну что, Горчаков, и от Веселухи до Заалтарной у нас слабых мест нету?

– Чаю, что ни с какой стороны нет! – отозвался князь.

– Не скажи! Беспокоят меня восточные башни, вообще все это направление. Даром, что к Богу да к Москве всего ближе.

Никакого плана руководству смоленской обороны было не нужно: крепость лежала как на ладони.

– Там скрытно к стене можно подойти... В общем, князь, как мы ране говорили: особое внимание востоку. С этим закончили пока. Теперь ты, Безобразов. Роспись по пушкам. Поправил?

– Готово дело!

– Как у тебя все споро. Люблю. Проверять не стану, но что у нас теперь, например, на... – Шеин повернулся в противоположную сторону, к западу. – Вот, на круглой Богословской башне. Зачитай.

⁴³ Средняя высота крепостных башен Смоленска была 20–22 метра. Фроловская башня возвышалась на 33 метра и была, кроме всего прочего, прекрасным обзорным пунктом.

– Читать мне не надобно, я и так помню... – Безобразов протянул Шеину бумагу. – Проверь. В подошвенном бою тюфяк двух пядей с торелью, к нему ядер каменных три ста, пушкар к нему Ивашко Цуриков... В этом году одну дочь Иван замуж выдал, еще три осталось... В среднем бою две пищали затинных. Выше того, в другом среднем бою, пищаль девятипядная. В верхнем бою, в зубцах, две пищали московских полуторных, к ним три ста ядер.

Все эти слова много говорили для каждого из собравшихся на смотровой площадке, но не для Григория. Он отвлекся и теперь наблюдал за красивым, хотя и бессмысленным действием внутри крепости. Вероятно, там проходил смотр стрельцов.

В своих алых кафтанах, в полном вооружении, они выстроились на зеленом лугу в четыре ряда. Четверка стрельцов делали три шага вперед, втыкали бердыши древками-ратовищами в землю, и, используя их как упор, клали сверху пищали-ручницы. Потом слаженно все четверо подхватывали свое холодное и огнестрельное оружие и бегом возвращались меж рядов в конец строя. Их место уже занимала новая четверка, а строй делал два шага вперед.

Так продолжалось бесконечно. Когда одни стрельцы занимали свое место в конце ряда, другие бежали вдоль строя, а третьи впереди как раз управлялись с бердышами и пищальями.

По небу плыли цепи кучевых облаков, и по земле бежали полосы света и тени. Когда стрелецкий строй оказывался на солнце, то алые кафтаны начинали в нем просто гореть, а отделка ножен и лезвия бердышей – пускать во все стороны солнечные зайчики.

Понятно, что такие учения вызывали полный восторг у обитателей крепости, и колонна стрельцов была окружена полукольцом зрителей. Григорий подумал, что накануне встречи с неприятелем главную военную силу можно было бы занять чем-нибудь более полезным, чем этим странным спектаклем, напоминающим детскую игру в «ручеек». Впрочем, для поднятия духа у народа...

А Безобразов, ведавший, помимо всего прочего, пушечным хозяйством, наконец заканчивал:

– В том же верхнем бою пищаль двухсаженная Ругодивская, что взята с казенного двора от верхних пороховых погребов, весу в ядрах двенадцать гривенок. Там же три человека с ручницами.

Шеин расхаживал туда-сюда по площадке и кидал вопросы:

– Сколько ядер к пищали девятипядной?

– Тож три ста.

– А весу в ядре?

– В ядре четыре гривенки.

– Как зовут дочек Ивашки?

Безобразов недоуменно воззрился на Шеина:

– Старшую, кажется...

Взрыв здорового мужского хохота не дал услышать имя старшей дочери пушкаря. Безобразов, махнув рукой, охотно присоединился к товарищам. Причем заржал с такой нечеловеческой силой, что, казалось, башня закачалась.

– Снова повторю: будь за пушки покоен, воевода, – сказал он, отсмеявшись. – Все проверены, пристреляны, вычищены – ни одна не подведет. Все двести две наизготове.

По прошлой росписи было сто девяносто, ты помнишь, но третьего дня с посадского острога еще дюжину вывезли. Знаешь, Михайло Борисович, мне даже хочется поглядеть, как поляки будут вертеться на сковородке, которую мы для них раскалим...

– Поглядишь. Теперь последнее. Скажи-ка мне, Горчаков... – Шеин вдруг замаялся. – Посадских оповестили, что всем в крепости быть надобно?

– Оповестили... – Горчаков смотрел не в глаза воеводе, а в сторону Смоленского посада, раскинувшегося на другом берегу Днепра. – Сказано было всем, что подождем.

Григорий мысленно охнул. Уж не ослышался ли он? Шеин собирается поджечь посад?!

– И как народ это выслушал, Петр Иванович? – негромко спросил Шеин, глядя в сторону.

– Ну, как-как, – второй смоленский воевода лишь пожал плечами. Что он сам думает о грядущем поджоге, было непонятно. – Бабы режут, конечно, но это уж им так Бог велел... Хуже с некоторыми мужиками.

– С какими?

– Из купечества сильно недовольны. Да не просто недовольны... Криком кричат! – Горчаков резко повернулся к Михаилу. – К чему, мол, дома жечь, добро изничтожать? Кто не захочет жить под ляхами, пускай, дескать, уходит в крепость!.. Нам же – ляхи так ляхи, лишь бы жить при своем кровном. Больше, конечно, готовы уйти, но терема чтоб не трогали. Мол, даст Бог, ляхов погонят, можно будет к себе вернуться.

– Это что ж, измена, Горчаков?! – с яростью воскликнул Шеин. – Это когда ж на Руси врагу города дарили? Они хоть понимают, что и крепость, и посад вместе нам не удержать? Понимают ли, что все едино придется пушками тот посад разбивать? Ежели поляк тут задержится, как можно ему дома для постоя и роздыха оставлять?!

Колдырев стиснул зубы: а ведь прав воевода. На сто кругов прав...

– Кто-то понимает, а кто-то и нет! – вместо Горчакова ответил Шеину один из стрелецких сотников. – Я вон тоже посадский. Жена, дитев семеро... Так моя Матрена слова худого не сказала, спросила лишь, можно ли с собой корову взять. А у кого мошна – тому смерть тошна... Более всех горланил посадский голова⁴⁴.

– Никита Зобов?

Шеин изумленно воззрился сперва на стрелецкого сотника, затем на Горчакова. Тот лишь сокрушенно кивнул.

– А что же Зобову-то неймется? – воскликнул Михаил. – Или у него богатств не хватит новый терем опосля отстроить?

Ни Горчаков, ни кто другой из соратников смоленского воеводы не успели ему ответить. Оттолкнув Григория, ставшего как раз возле выхода с лестницы, на верхнюю площадку башни вылетел краснолицый рыжебородый стрелец:

– Боярин-воевода! Посольство к тебе из посаду!

– Посольство-о? – резко обернулся Шеин.

– Посадский голова, купец Зобов, с ним двое других купцов... и еще народ какой-то. Всего полтора десятка. Шумят, требуют, чтобы ты к ним спустился.

– Помяни черта... А сами подняться не могут? Раздались больно – лестница им узка?

– Так говорят – у тебя тут и без них народу полно...

– Откуда знают? – Михаил подступил к стрельцу вплотную так, что тот попятился. – Кто им докладывал?

– Не ведаю, Михайло Борисович! Они, куда сюда шли, со многими говорили.

Воевода перевел дыхание. Стоило немалого труда овладеть собой... однако овладел. С легкой усмешкой обернулся к соратникам, затем подмигнул стоявшему в стороне Григорию:

– Вот так вот, православные! Еще и война не началась, а уж людей теряем. Жадность бьет страшнее пушек, – и добавил, поворотившись к рыжебородому стрельцу: – Спускайся да скажи Зобову, что я к ним сходить не собираюсь – у меня на стенах дел до вечера. Хотят – пускай поднимаются, выслушаю.

Когда посадское посольство все-таки показалось на площадке, двое крепких молодцов из логачевских «соколов», державшиеся до сих пор незаметно, выдвинулись по правую и по левую руку от воеводы, встав на шага полтора впереди него. Каким-то образом им при этом удавалось оставаться незаметными. Купцы в отороченных мехом кафтанах долго отдувались. Старший из

⁴⁴ Городское население само выбирало «главу администрации». Посадским головой мог быть только кто-то из «лучших», т. е. наиболее состоятельных людей, но выборы были прямые и выбирали его именно посадские, обладавшие правом голоса.

всех, посадский голова Зобов, дородный пятидесятипятiletний мужчина с красиво седеющей русой бородой, достаточно почтительно, но не особенно низко поклонился воеводе.

– Здрав будь, Михайло Борисович!

– Здрав будь и ты, Никита Прокопич. Какая до меня нужда?

– Так ведь ты ее ведаешь.

На широком, покрытом легким загаром лице Зобова появилась, блеснув в бороде, чуть насмешливая улыбка.

– Не скажи. – Голос Михаила Борисовича был теперь совершенно спокоен. А взгляд пылал.

– Побойся Бога, воевода! – воскликнул купец. – Сам знаешь, как народ наш тебя уважает... Но можно ли творить тобой задуманное?! Дотла выжечь город, и людей без крова оставить! Где же видано такое?

Шейн в свою очередь усмехнулся:

– И крепость, и посад нам не удержать. Что ж, предлагаешь целый город врагу на блюде предподнести? Подарить им дома, укрепления, подпустить к стенам крепости?! Может, скажешь и пушки вернуть на посад?!. Не по прихоти же своей я так поступаю, господа купцы, но только по последней необходимости.

Спутники Никиты Прокопьевича Зотова боялись встречаться взглядами с воеводой... Но один из купцов, тот, что помоложе, решился:

– А ежели сперва, как в купецком деле принято, выслушать условия, кои польский король поставит? Ему ж Москва нужна, да и идет он на Русь не землю нашу завоевывать, а смуту прекратить... Сам сказал, а слово королевское – что купецкое. Если он пообещает, что город нам оставит, не разграбит, не тронет людей, так отчего ему и не открыть ворота?

– И ключи от города сдать?! – Голос Шеина вновь дрогнул от ярости, рука против воли сдвинула рукоять висевшей у пояса сабли. – И присягу, государю данную, нарушить и веру православную на чужую поменять?!

– Да разве Сигизмунд того требует? – возвысил голос Зобов. – Ты, Михайло Борисыч, его «Меморандум» – тьфу, слово бесовское – хоть читал? Обещает Сигизмунд церкви православные не трогать. Он, может, и вообще оставит Смоленск в покое, ежели мы сами воевать не начнем!

– И пойдет мимо нас преспокойно на Москву? – Тут Михаил в упор посмотрел на Зобова, но тот до поры до времени выдерживал жгучий взгляд воеводы.

– Но в Москве-то – смута! – подал голос еще один купец. – Многие не только в народе, но и бояре – ропщут на Шуйского. Может, Сигизмунд и впрямь навел бы там порядок?

– Чей порядок? – резко обернулся к купцу Михайло Борисович. – Свой? Али не помнишь ты, что послы польские заявили Годунову, когда он на престол вступил? Прямо ведь сказали ему: отдай, царь Борис, княжество Смоленское нам! А Самозванец чем похвалялся, тоже забыл? Обещал же половину княжества воеводе Мнишеку, а половину – королю!.. И после этого, думаешь, поляки сейчас Смоленск стороной обойдут, не обидят?!

– Послушайте меня, честные люди! А ты, боярин воевода, дозвошь сказать...

Все находившиеся на площадке разом посмотрели на Григория, до того лишь в сторонке молча слушавшего Шеина и посадских «послов».

– Говори.

– Я недавно прибыл из Европы, – проговорил Григорий. – Под конец скакал сюда из Орши, потому как видел там сборы польской армии и проведал кое-что об их планах... Не с миром идет к нам король польский, все его обещания – слова, и только. Его армия – алчный сброд из разных земель, единственное желание которого – поболее наgrabить.

Перекикивая ропот, он возвысил голос:

– Я вот что еще скажу. Никто из завоевателей не приходил на чужую землю, чтобы подарить ей мир и с миром из нее уйти! Все идут, дабы ту землю полонить, опустошить или себе навсегда забрать... Смоленск ляхи польским городом считают и нас, русских, презирают, будто мы нелюди какие. Дикари... И нехристи, ибо они нашу веру не признают христианской. И этих вот «миротворцев» вы хотите в город впустить? Условия их принять?! Да они вас обманут, потому как побожиться вы им можете, только по православному перекрестясь, а это для них – не божба. Выходит, они, будто иудеи, считают себя вправе обманывать всех, кто не их веры! Так что – жаль не жаль посада, а все едино его не убережешь. Захватят его ляхи, обратят в оружие против крепости, а посадским от них и житья не будет, и добра они вам вашего все едино – не оставят!

И торговли они вам не оставят – и не мечтайте, – продолжал Григорий. – Знаете ли вы, господа купцы, что такое налоги? Не знаете? Потому что ихние налоги куда как выше, чем наши подати. А еще сборы бесчетные! За рождение, за смерть, за ловлю рыбы, за ловлю птиц, за сбор желудей? Да-да, желудей. Каждого шляхтича кормить надо! И это так они со своими. Вы же для них будете чужими!

В конце Григорий говорил спокойно, лишь чуть громче, чем обычно, да и побледнев, но более ничем волнения не выдавая, и от этого его речь произвела особенно сильное впечатление. Купцы за спиною Зобова, переглянулись и вновь согласно потупились. Смутился и сам Зобов, только что исполненный сознания своей правоты.

– Мы тебя не знаем, – только и нашелся он что сказать.

– По грехам нашим... – прошептал другой купец, осенив себя крестом. – Но все равно: своими руками погубить все, что годами строили...

– Будем живы – все вновь отстроим! – твердо сказал воевода.

Зобов все же собрался:

– В посаде нас тридцать тысяч! Да крестьяне из волости придут. Куда всех поселишь? Чем людей кормить будешь, если ляхи осадой встанут?

– Для дворян, стрельцов и люда купеческого места определены, – вместо Шеина ответил посадскому голове Безобразов. – Потеснятся наши, чай терема не треснут. Остальным выделят амбары да сараи – запасы из них уже перенесены в погреба. Там и сохраннее будут. Еще землю отведем, чтоб землянки рыть. Земли пустой в крепости много. Между Молоховскими и Крылошевскими воротами как раз место удобное. Зерна в крепости запасено вдоволь, надолго хватит. А на сколько – так это при всех сказать не могу, извини.

– Затянул Сигизмунд, – подал голос Горчаков. – Долго любезный собирался. Для длительной осады, согласно военному искусству, лучшее время – перед жатвой, когда закрома пусты. А у нас урожай собран и в этом году прямо на диво хорош. Ржи уродилось сам-десять, овса сам-шесть, ячменя опять сам-десять... Ну да вы-то все знаете, чего это я докладывать взялся.

– Господь вам всем судья! – проговорил, минуту помолчав, Никита Прокопьевич. – Хотел бы я, Бог свидетель, чтоб по-вашему все вышло...

С этими словами, уже не кланяясь, отвернулся и направился к лестнице. Его спутники на сей раз шли впереди него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.